

Б  
С  
И  
О  
Б  
В  
Л  
Е  
И  
Т  
О  
С  
Т  
К  
Е  
О  
К  
И  
А

Ф А Н Т А С Т И К И

ГЕННАДИЙ ПРАШКЕВИЧ

# Кот на дереве





Кот на  
дереве



---

Б И Б Л И О Т Е К И  
Ф А Н Т А С Т И Ч Е С К И

ГЕННАДИЙ ПРАШКЕВИЧ

---

# Кот на дереве

Фантастические повести  
и рассказы



МОСКВА  
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»  
1991

ББК 84Р7  
П 70

П  $\frac{4702010201-021}{078(02)-91}$  112—91

ISBN 5-235-01319-0

© Г. М. Прашкевич, 1991 г.

**КОТ**

**НА  
ДЕРЕВЕ**

*Записки, публикуемые ниже, принадлежат физику-экспериментатору И. Стеклову, практическому исполнителю так называемой Малой Программы по установлению первых (односторонних) контактов с Будущим. С Малой Программой так или иначе связаны творческие биографии таких известнейших писателей современности, как Илья Петров (новосибирский) и Илья Петров (новгородский); собственно, записки И. Стеклова посвящены шестидесятилетию названных писателей и зачтены, как отдельное сообщение, 12 сентября 2001 года в женевском Дворце наций перед участниками Первого Всемирного форума любителей Книги.*

*Сокращения в тексте, связанные с деталями чисто технического характера, выполнены самим И. Стекловым.*

# 1

Уважаемые коллеги! Товарищи! Дамы и господа!

На многочисленных пресс-конференциях, в письмах, поступающих в редакции газет и журналов, на встречах литераторов и читателей вот уже который год звучит один и тот же вопрос: почему почти одиннадцать лет мы не видим в печати новых произведений двух таких крупных, всемирно признанных прозаиков — Ильи Петрова (новосибирского) и его коллеги, тезки и однофамильца Ильи Петрова (новгородского)?

Необъясненное молчание всегда тревожит.

Если писатель молчит год, молчит два, если он молчит даже три или четыре года, естественно предположить, что он занят работой над новым, над объемным произведением, но если молчание длится ряд лет, а молчит при этом не один, а молчат два популярнейших писателя, уход от объяснений становится неприличным. Читатели, без всякого сомнения, имеют право знать, что, собственно, происходит с их кумирами.

В день шестидесятилетия названных писателей я рад



довести до сведения уважаемых участников Первого Всемирного форума любителей Книги следующее.

Все слухи об отходе от практической литературной деятельности как Ильи Петрова (новосибирского), так и Ильи Петрова (новгородского) основаны на недоразумении. Оба писателя живы и здоровы, оба активно занимаются любимым делом, оба с удовольствием шлют свои наилучшие пожелания всем участникам форума. Что же касается их новых произведений, то работа над ними (я отмечаю это с не менее радостным удовлетворением) никогда не прерывалась и не прерывается. Оба писателя работают много и плодотворно, хотя выход в свет их новых произведений планируется не ранее 2011 года. Эта дата, несомненно, удивит почитателей их таланта, особенно почитателей преклонного возраста, но указана она самими писателями и никем не может быть изменена по причинам, на которых я остановлюсь ниже.

Анализируя причины произошедшего, я буду больше говорить об Илье Петрове (новосибирском), но это, конечно, не потому, что работы моего друга кажутся мне интереснее и важнее работ его уважаемого коллеги, просто Петров (новосибирский) и я, мы родились в одной деревне (Березовка Томской области), играли в одной песочнице, ходили в одну школу, а потом, в течение многих лет, жили в соседних квартирах одного из домов по улице Золото долинской (новосибирский академгородок).

Это сближает.

С детских лет Илья не чурался преувеличений. Черта для будущего писателя не самая скверная, но, признаюсь, при моем ровном, всегда стремившемся к точности характере выдумки Ильи не раз ставили меня в тупик. Ночуя на деревенском сеновале, сладко пахнущем сеном, Илья мог вполне серьезно заявить, что уже неделю не ходит в школу, а местный милиционер (наш сосед) даже объявил на Илью всесоюзный розыск.

Я недоумевал.

Илья не походил на злого бегуна, к тому же в течение всей недели я видел его птичьей остроносой физиономией рядом — мы сидели с ним на одной парте.

Чему верить?

Я не сразу приходил к определенному мнению, наверное, поэтому мой блистательный друг довольно долгое время считал меня тугодумом.

Тугодум?

Может быть...

Но разве не свойство по многу раз проверять и перепроверять якобы давным-давно уже узnanное и проверенное привело меня позже к теоретическому обоснованию, а затем и к практическому созданию так называемой Машины Времени, больше известной сейчас по аббревиатуре МВ?

Илья Петров (новосибирский) и новгородский его коллега, оба они участвовали в нашем первом (и пока единственном) эксперименте по установлению первых (односторонних) контактов с Будущим. Именно участие в эксперименте резко изменило их привычный образ жизни. Не случись этого, сейчас перед вами выступали бы они сами, а не их поверенный — физик-профессионал, никакого отношения к литературе не имеющий.

## 2

В отличие от многих моих сверстников я никогда не испытывал особого пристрастия к перемещениям в пространстве, то есть к тому, что вообще называют путешествиями; травма, полученная мною в детстве (упал с дерева), привела к довольно сильной хромоте, не мешавшей мне, впрочем, бродить вместе с Ильей по нашим огромным районным болотам. К тому же по сути своей я созерцатель. Так получилось, что практически вся моя сознательная жизнь прошла в двух населенных пунктах — в той же Березовке и в новосибирском ака-

демгородке, где я заканчивал местный университет, а затем, в течение многих лет, занимался в крупном НИИ проблемами Времени.

Скажу сразу, подобный образ жизни вполне меня удовлетворял. Если мне хотелось узнать, что курят в Нигерии, какое дерево кормит Грецию или каким паромом удобнее плыть из Швеции в Данию, я всегда мог зайти к своему знаменитому соседу Илье Петрову (новосибирскому) и получить от него любую справку. Сам же я считал путешествия бессмысленной тратой времени. Во-первых, любой иностранец (а за границей даже самый умный из нас автоматически превращается в иностранца) всегда человек отсталый, ибо все, что он знает об увиденной стране, вычитано им из вчерашних газет и журналов, а во-вторых, как ни далеко лежат от нас, скажем, Египет или остров Пасхи, нет особых проблем в том, чтобы добраться до их пирамид и каменных статуй. Другое дело, заглянуть в тот же Египет, но времен фараонов, на тот же остров Пасхи, но времен создания ронго-ронго.

Мальчишкой я немало часов провел в размышлениях над такими путешествиями — во Времени. Внизу, под обрывистым берегом, шумела Томь. Я сидел под рыжами, как фонари, лиственницами. Как ни был я мал, меня уже тогда мучительно трогала якобы доказанная учеными невозможность никаких физических перемещений во Времени.

К счастью, человеку упорному судьба, как правило, благоволит.

В те годы, когда мы с Ильей (новосибирским) и еще с одним нашим полуприятелем-полуврагом Эдиком Пугаевым бродили по нашим северным бесконечным болотам, известный специалист по обоснованию математики К. Гёдель уже создавал свою остроумную модель мира, в которой отдельные локальные времена никак не увязывались в единое мировое время. В будущей моей работе по созданию МВ точка зрения К. Гёделя, его

неординарная модель мира сыграли огромную роль, ибо наиболее удивительной чертой модели, созданной К. Гёделем, оказалась как раз та, что подчеркивала ее временные свойства. Известно, что мировая линия каждой фундаментальной частицы всегда открыта так, что ни одна эпоха никогда не может повторно появиться в опыте предполагаемого наблюдателя, привязанного к такой частице. Но оказалось, вполне могут существовать (и благополучно существуют) и другие временеподобные, но замкнутые кривые. То есть в мире, смоделированном К. Гёделем, путешествия как в Прошлое, так и в Будущее выглядят делом вполне реальным. Взяв за основу . . . . .  
. . . . .  
. . . . . на восьмом году невероятных усилий добился определенных успехов.

Впрочем, я не собираюсь рассуждать о технических и философских принципах работы МВ. Моя цель — ознакомить вас с причинами, толкнувшими к столь долгому молчанию двух всемирно известных писателей.

### 3

Наша Березовка, деревянная, старая, лежала на берегу нижней Томи. Прямо в дворы вбегал мшелый лес, но, как я уже упоминал, чуть ли не за поскотиной начинались бесконечные и унылые болота, на которых мы охотились на крошечных, но безумно вкусных куличков. Позже, в начале восьмидесятых, когда мы с Ильей давно перебрались в неофициальную столицу Сибири, куличков этих подчистую уничтожили при тотальном осушении болот. Там, где раньше шуршали на ветру ржавые болотные травы, зацвели яблоневые сады, зато не осталось куличков. Не выдержав грохота бульдозеров и землеройных машин, бедные кулички остались только в воспоминаниях старожилов, а последнюю их парочку, выловив специальной сеткой, съел,

говорят, Эдик Пугаев, к которому я еще вернусь в дальнейшем.

Наш земляк, наш ровесник, наш соклассник, Эдик Пугаев был щербат, настырен и предприимчив. Именно на его веселом свадебном столе (третий брак), поразившем односельчан небывалой роскошью, самым главным, самым экзотическим блюдом оказалась, как это ни странно, не икра морских ежей, добытая на Дальнем Востоке, не чавыча семужного посола, завезенная с Курил, не копченые кабанышки почки, купленные в Прибалтике, — главным, самым поражающим блюдом оказались именно те два последних крошечных куличка, которых Эдик самолично выследил и изловил в день перед свадьбой.

— Знай наших! — сказал он счастливой невесте. — Таких птичек больше нет на Земле. Такой закуси не найдешь теперь даже у арабских шейхов.

Куличков Эдик хвалил не зря. Мы выросли на тех куличках. Наши мамы, потерявшие мужей на фронтах Великой Отечественной, всемерно поощряли охотничьи инстинкты, дремлющие в наших душах. Копаясь в болотистых огородиках, они думали, конечно, не о куличках, они нас хотели поставить на ноги.

Равный возраст не означает равенства.

Эдик Пугаев имел ружье.

Вытертое, с обшарпанной ложей, тяжелое, неуклюжее, оно вполне искупало свои недостатки тем, что каждый выстрел приносил Эдику (в отличие от наших жалких волосяных петель) столько птиц, что он мог (и, разумеется, делал это) даже приторговывать дичью, ибо уже тогда, не зная Платона, сам дошел до одной известной платоновской мысли: человек любит не жизнь, человек любит хорошую жизнь.

Для нас с Ильей, людей без ружья, хорошая жизнь всегда ассоциировалась с книгами. В местной читальне, а также у хромого, как я, грамотея кузнеца Харитона хранилось штук двадцать книжек, среди которых меня

с первого раза покорила «История элементарной математики» Кеджори и прелестная книжка, автора которой я так и не смог установить, поскольку обложка с нее была сорвана, — «Как постепенно дошли люди до настоящей математики». Не знаю, когда и где добыл дядя Харитон эти, в общем-то, бесполезные для него книги, но если говорить о некоей причинности, то именно запасы деревенской читальни, а также книжные богатства дяди Харитона в немалой степени способствовали в будущем созданию МВ, ибо неясно, как бы сложилась моя жизнь, не случись на моем пути тех замечательных книжек.

Илья же обожал Брэма.

Он считал, что подробное знание Брэма позволит ему когда-нибудь моментально определить любое попавшееся на глаза живое существо. Вряд ли он, конечно, надеялся встретить на наших тропах гиппопотама или котаманула, но бесполезными свои знания он не считал, хотя, кроме мошкары да упомянутых куличков, все живое старательно обходило наш край. Белки и лисы пришли сюда позже, когда над Томью уже цвели яблоневые сады, а последнюю парочку болотных куличков выставил на свадебный стол Эдик Пугаев.

Мы отдавали должное ружью Эдика. Шестнадцатый калибр! — в ствол входили сразу три наших тощих, сложенных шепотью перста. Один выстрел, и Эдик мог пообедать! Стрелять же Эдик умел. Мы в этом убеждались не раз.

Скажем, появилась у Ильи новая кепка.

Эта новая кепка, редкость по тем временам, как-то сразу и нехорошо заинтересовала шербатого Эдика. Презрительно кривя тонкие губы, он незамедлительно посоветовал Илье вывозить кепку в грязи. Новая вещь, пояснил он, здорово сковывает человека. Если, скажем, я вдруг окажусь в трясине, новая кепка Ильи может сыграть ужасную роль. Ведь прежде, чем броситься мне на помощь, Илья начнет срывать с головы новую кепку, а значит, потеряет драгоценные секунды. Ну а от

тех секунд, уже без зависти пояснил Эдик, зависит вся моя жизнь.

— Слышь, Илюха, — предложил Эдик, подбрасывая на ладони красивую латунную гильзу. — Давай на спор. Ты бросаешь кепку в воздух, я стреляю. Если попаду, ничего с кепкой не сделается — дробь мелкая. Если промажу, вся сегодняшняя добыча ваша.

Мы переглянулись.

Предложение выглядело заманчиво. Если зафинтилить кепку в небо, Эдик может и промахнуться, а тогда...

Мы согласились.

По знаку Эдика Илья запустил кепку под облака.

Но Эдик не торопился.

Он выжидал.

Он выстрелил, когда кепка, планируя, шла к земле. Он выстрелил легко, навскидку, и сразу повернул к нам ухмыляющееся плоское лицо.

Свое дело он знал.

К ногам Ильи упала не кепка, а ее суровый козырек, украшенный по ободку невероятными лохмотьями.

— Кучно бьет, — сказал я, стараясь не смотреть на Илью.

— Не дрейфь, — сплюнул Эдик. — Дырку можно замазать чернилами.

Его предложение не было принято.

Чтобы скрыть дыру (если это можно было назвать дырой), пришлось бы замазывать чернилами всю голову будущего писателя. Спрятав в карман то, что осталось от замечательного головного убора, Илья молча зашагал к болоту. Он здорово держался. Он изо всех сил показывал, что спор был честный, что обиды на Эдика у него нет. Но я думаю, что именно в тот день Илья раз и навсегда встал на защиту всего живого, не умеющего дать отпор чему-то сильному, агрессивному. Он, например, отказался от охоты на куличков.

— Да ты чё! — сказал я. — У нас этих куличков, как мошкары.

— Ага, — хмыкал Илья. — Бизонов в Северной Америке тоже было больше, чем мошкары. Мамонты в Сибири паслись когда-то на каждом лугу. Где они теперь?

— Не Эдик же их перестрелял.

— Именно он. Эдик!

Я не понял Илью.

— А чего тут понимать? — удивился он. — Вот, скажем, поселился ты возле богатого дома, у хозяина которого есть все — и сад, и скот, и семья. А ты гол как сокол. На что ты решишься?

Я пожал плечами.

— Ну, наверное, тоже начну работать, чтобы вырастить сад...

— Вот-вот... — хмыкнул Илья. — А Эдик бы так решил: голову положу, но этот сосед будет жить хуже, чем я, и скот у него передохнет!

— Преувеличиваешь...

Но именно тогда Илья завел самодельный альбомчик, в который терпеливо собирал все дошедшие до него сведения о растениях, животных, птицах и рыбах, обративших на себя жадное внимание эдиков. Сам того не подозревая, Илья создал нечто вроде собственной Красной книги.

Я удивлялся:

— Ну, татцельвурм или квагга... Зачем ты вписал в альбом наших болотных куличков?

Илья отвечал коротко:

— Эдик!

Эта проблема — эдик и все живое — стала, в сущности, основной в будущих работах писателя Ильи Петрова (новосибирского).

Многие, наверное, помнят известную дискуссию, в которой приняли участие и новосибирец, и новгородец. Мой друг тогда утверждал: мы недооцениваем эдиков. Пытаясь их перевоспитать, мы тащим их в будущее, а они тут же все заражают вокруг себя своими бредовыми мыслями. Но спасать человека надо и в эдике,



возражал новгородец. Мораль ущербна, если мы спасаем тигров и квагг, но отказываемся от эдиков.

В год той дискуссии вышел в свет самый известный роман Ильи Петрова (новосибирского) — «Реквием по червю».

В этом романе, переведенном на сто шесть языков, Илья Петров описал будущие прекрасные времена, когда, к сожалению, было окончательно установлено, что мы, люди Разумные, как и вообще органическая жизнь, не имеем никаких аналогов во Вселенной. Ни у ближних звезд, ни у отдаленных квазаров ученые не нашли и намека на органику. Ясное осознание того, что биомасса Земли уникальна, единственна, ясное осознание того, что биомасса Земли — это, собственно, и есть биомасса Вселенной, привело наконец к осознанию того простого факта, что исчезновение даже отдельной особи, исчезновение даже отдельного червя уменьшает не просто биомассу нашей планеты, но уменьшает биомассу Вселенной.

В романе Ильи Петрова (новосибирского) люди прекрасных грядущих времен, осознав уникальность живого, объявляли всеобщий траур, если сходил со сцены самый малозначительный, самый нейтральный организм. По радио всей планеты передавалась печальная музыка, приспускались национальные флаги. Герои Ильи Петрова знали, по ком звонит колокол. Но зато с не меньшей силой радовались они, если благодаря их усилиям возрождался, восставал из небытия какой-то, казалось бы, уже безнадежно завядший вид.

Это сближает.

#### 4

И вообще...

«Будь у Клеопатры нос подлинней, мир, несомненно, выглядел бы иначе. Задержись на четверть часа в харчевне те солдаты, что в вандемьере доставили пушки

Бонапарту, мы не знали бы ни Ваграма, ни Ватерлоо...»

Я намеренно напоминаю общеизвестную цитату.

Именно мне, как исполнителю Малой Программы по установлению первых (односторонних) контактов с Будущим, пришлось в голову привлечь к эксперименту писателя.

Если говорить откровенно, повод был прост: мое неумение шагать к цели, опуская хотя бы один этап. Даже в детских мечтах я не умел спешить сразу к главному.

Вот, скажем (мысленно, разумеется), я попадаю на МВ в Новосибирск ХХI века.

Я выхожу из МВ на известной мне по названию, но совершенно уже изменившейся улице. Любой нормальный человек в считанные минуты добрался бы до интересующих его объектов, будь то космопорт, бесплатный ресторан или научная библиотека.

Любой, но не я.

Я бы и сто метров не прошел просто так. Я бы непременно отвлекался на мелочи: на прохожих (изменилась ли их походка?), на деревья (те же они, что сейчас?), на блеск луж (будут ли они на счастливых улицах Будущего?)... Вот почему, сразу после утверждения Малой Программы, я потребовал, чтобы моим спутником в предстоящей вылазке в Будущее непременно был бы писатель, то есть человек, умеющий быстро и точно избрать из многого главное.

Перебрав более пятидесяти имен, заложенных в память, Большой Компьютер остановил свой выбор на Илье Петрове.

Я был рад.

Мой друг будет рядом. Его острое птичье лицо овеют ветры настоящего будущего. Он пойдет рядом со мной по тем улицам, которые мы обживали...

Но, радуясь, я помнил о деле. Я даже укорил Вычислителя:

— Почему не назван дублер Ильи Петрова? Почему сам Петров помянут на выходе дважды?

— Большой Компьютер не ошибается, — сухо пояснил уязвленный Вычислитель. — Дублером Петрова назван другой Петров. Насколько я понимаю, это однофамильцы.

Из более чем пятидесяти писателей, претендовавших на участие в эксперименте, Большой Компьютер выбрал однофамильцев, известных всему читающему миру.

Родились они в один год, но в разных местах. В одном и том же году вышли их первые книги. Случалось, гонорар одного поступал на счет другого, письма, адресованные новгородцу, случалось, приходили новосибирцу. Но ни один из них не отказывался от своей фамилии, не желал взять псевдоним. «Мы достаточно не похожи!»

Это было так.

Осанистый новгородец всегда был ровен в изъяснении своих чувств, мой друг постоянно кипел. Бородатый новгородец предпочитал проводить свободные вечера в писательском клубе, мой друг постоянно мотался по краям отдаленным и не очень. Правда, оба пользовались феноменальной известностью.

Сообщив новгородцу о решении Большого Компьютера, в тот же день я заглянул к моему другу.

Посетить Будущее? Илья даже не удивился. Разумеется, он готов. Он так много писал о Будущем, что пора, пожалуй, самому там побывать.

— Может получиться так, что ты будешь вторым...

— Разве ты в счет? — бесцеремонно поинтересовался Илья.

— Я не в счет. Но у тебя будет дублер.

Илья перечислил несколько известных имен.

— Не угадал, — усмехнулся я. — Новгородец.

— Он!

Илья вскочил. Он бегал по кабинету, сбивая на пол какие-то книги, какие-то рукописи. Ну да, кричал он. Опять новгородец! Куда он, Илья, ни сунется, везде находит его след! Если дело и дальше пойдет так, мы еще наткнемся на следы и Эдика Пугаева!

— Это исключено, — заверил я Илью. — Встретить Эдика в Будущем — это все равно, как встретить его сейчас, скажем... на Родосе.

Илья остолбенел:

— На Родосе?

— Это недалеко, — кивнул я.

— Но именно на Родосе я встретил Эдика совсем недавно.

Теперь остолбенел я:

— Как он попал в Грецию?

— Если верить его словам, решил посмотреть мир. Если говорить понятно: еще раз решил этот мир облапошить.

— Справедлив ли ты к Эдику?

— Как можно быть справедливым к чуме, к раку? — взорвался Илья. — Знаешь ли ты, что сказал Эдик своей первой жене сразу после свадьбы?

— Откуда мне это знать? — смутился я.

— Зато я знаю!

— Что же он сказал?

— Продрав утром глаза, Эдик незамедлительно предложил жене развестись.

— Она так быстро ему надоела?

— Об этом же спросила и его жена, — мрачно хмыкнул Илья. — А Эдик засмеялся: разве им не нужны деньги? Они же молодожены! Им, как молодоженам, вполне можно получить на руки еще по сто восемьдесят рублей!

— Никогда не думал, что на разводе можно зарабатывать.

— Жена Эдика тоже так не думала. Но он убедил ее. Он указал ей на штампик в паспорте, на штампик, подтверждающий их добровольный союз. Он намекнул, что потеря такого штампика, разумеется, вместе с паспортом, обойдется каждому всего лишь в десять рублей.

— Разве новый паспорт выдадут без штампика?

— Вот-вот! — обрадовался Илья. — Верно мыслишь.

Жена Эдика тоже так спросила. А он ответил, что супруга выглядит и молодой, и честной. Он ответил, что, получая новый паспорт, совсем необязательно афишировать их прежнюю жизнь. Получив новые паспорта, сказал Эдик своей супруге, они незамедлительно отправятся во Дворец бракосочетаний.

— Наверное, ты имеешь в виду бракоразводный дворец?

— Никогда о таком не слышал! — вспыхнул Илья. — Вместе с новыми заявлениями, подсказал Эдик жене, они подадут просьбу выдать по сто рублей компенсации — для приобретения обручальных колец. Кольцо, как известно, — это предмет первой необходимости, это символ, способствующий укреплению семейных уз. Ты физик, причем одинокий физик, тебе этого не понять, — Илья не скрывал ни раздражения, ни сарказма. — Вот и получается, что Эдик и его жена действительно могли получить двести рублей, вычтя из них по десятке в счет выплаченного за потерянные паспорта.

— И жена Эдика пошла на это?

Илья показал ровные зубы:

— Он умолял ее. Новосибирск — большой город. Можно пройти по всем загсам, по всем дворцам. Народу в городе много, быстро не примелькаешься... К счастью, у юной жены хватило благоразумия. Она рассталась с Эдиком. И навсегда.

## 5

Впрочем, разлука с первой женой ничуть не смутила Эдика Пугаева. Это я узнал от того же Ильи, он любил копаться в чужих биографиях. Он не без удовольствия перечислил мне основные житейские ценности Эдика, с помощью которых он когда-то собирался покорить столицу Сибири: диплом пединститута (похоже, настоящий), справки о работе в различных школах (похоже, липовые), сберкнижка с вполне приличной

суммой, собранной на шабашных работах, а также при торговле кедровыми орехами, нелегально и не в сезон доставляемыми из тайги.

В Новосибирске Эдику первое время везло. Как он сам говорил: шла пруха. Здесь, в городе, он занялся делом чистым, как он сам считал, и интеллигентным: перепродавал пользующиеся спросом книги. Черный рынок скоро оценил мертвую хватку новоявленного культуртрегера. Кстати, именно в Новосибирске Эдик впервые узнал, что один из двух знаменитых Петровых — его бывший кореш. Впрочем, на судьбе Пугаева данное открытие в то время особенно не сказалось. Погорев на книжных спекуляциях (Дрюон, Пикуль и Петровы), чудом отвертевшись от грозящего наказания, потеряв в житейских битвах свою вторую жену, буфетчицу при вокзальном ресторане, Эдик совершенно разумно разлюбил крупные города, перенасыщенные, на его взгляд, работниками БХСС и милиции.

Пытать судьбу он не стал, вернулся в Березовку.

Шумели над Томью яблоневые сады, давно ушло в прошлое голодное детство. Но мятежный дух не оставлял Эдика. Когда подвернулась возможность отправиться в качестве туриста к красотам Средиземноморья, Эдик умудрился оформить все необходимые документы, чуя сердцем — затраты на поездку окупятся!

— Заполняя анкету, — возмущался Илья, — Эдик на вопрос: «Какими языками владеете?» — ответил просто: «Не какими!» А, узнав, что на борту теплохода нахожусь я, до самого Стамбула не выходил из каюты. Он боялся, что я брошусь в море, увидев его. Лишь в Стамбуле он нанес нам с Петровым визиты вежливости.

— Ты был не один?

— В том-то и дело! Греки издали несколько наших книг, и я сам уговорил новгородца оставить на месяц его писательский клуб.

— Но чем, собственно, мешал тебе Эдик?

Илья набрал воздуха в грудь. Илья, как ужасную тайну, выдохнул мне в лицо:

— Они подружились!

— Кто они?

— Эдик и он, мой новгородский коллега, мой будущий дублер в нашем эксперименте! У новгородца всегда был несносный вкус. К тому же нет на свете другого такого лентяя. После Стамбула он уже не сходил на берег и даже пресс-конференции проводил на судне. Он лежал в шезлонге, курил трубку, а за новостями туда-сюда мотался Эдик Пугаев. Представляю, — хмыкнул Илья, — как будет выглядеть новая повесть новгородца! Ведь даже на Коринф и Микены он смотрел глазами Пугаева!

— Не вижу повода для отчаяния.

— Как?! — вскричал Илья. И вздохнул: — Ах, ты же не знаешь. Оказалось, мы работаем практически над одним материалом, и даже прототип у нас общий.

— Такое в истории бывало, — улыбнулся я.

— Бывало... Но Петров — альтруист! Он же обязательно постарается доказать, что у Эдика есть человеческая душа. А у Эдика никогда не было души. Это только новгородец так считает. Он же всю жизнь ищет монополь Дирака!

Илья взглянул на меня:

— Ты помнишь, что такое монополь Дирака?

Я усмехнулся.

— Если магнит делить все на меньшие и меньшие части, — нагло объяснил мой бесцеремонный друг, — можно якобы добраться до магнита с одним полюсом... Нет, — вздохнул он, — Илья все испортит!

Я усмехнулся.

Я знал о наваждениях моего друга. Одним из таких наваждений для него всегда был Эдик Пугаев. Он был для Ильи той бесцельной звездой, что постоянно висит в небе. О ней можно забыть, она может быть затянута облаками, но она существует. Так и Пугаев. Вчера

приторговывал куличками, сегодня спекулирует книгами, вчера дружил с буфетчицей, сегодня стрижет купоны с большого писателя.

Я понимал Илью.

И, никогда ничего такого в жизни не видев, я отчетливо, до рези в глазах, увидел и ощутил бесконечную, невероятную голубизну Эгейского моря — стаи несущихся сквозь брызги летучих рыб, палящий жар сумасшедшего средиземноморского солнца, а вдали неторопливо сменяющие друг друга загадочные флаги грузовых и пассажирских судов. Я отчетливо разглядел сквозь дымку морских пространств худенькую фигурку моего друга, увидел его прогуливающимся по эспланаде, где бородатые художники легко набрасывали мелкими ментальные портреты прохожих. И так же отчетливо я увидел и новгородца, благодушно погруженного в очередной бедекер — его любимое чтение. Он, конечно, не случайно поставил свой шезлонг рядом с компанией устроившихся прямо на горячей деревянной палубе ребят из Верхоянска или из Оймякона, одним словом, откуда-то с полюса холода. Они дорвались наконец до моря и солнца, они могли наконец не отрываться от бесконечной, расписанной еще в Одессе пультки. Иногда они поднимали коротко стриженные головы, улыбались и не без любопытства спрашивали Петрова: «Что там за город? Чего суетсяя люди?» Новгородец весело отвечал: «Это Афины, столица Греции. Туристов ведут в Акрополь». — «Ничего, — одобряли ребята с полюса холода. — Хороший город. Красивый». И вновь погружались в свою игру.

Это сближает.

## 6

Следует отдать должное Петровым.

Узнав о выборе, сделанном Большим Компьютером, получив официальное приглашение принять участие



в столь необычном эксперименте, они не впади в суету. Новгородец потребовал для себя три недели: завершить первую часть начатой им греческой повести. Примерно столько же времени потребовал для себя и мой друг. А поскольку эти неоконченные рукописи Петровых сыграли в дальнейших событиях известную роль, я обязан несколько подробнее остановиться на их средиземноморском круизе.

Я уже говорил: время на корабле Петровы проводили по-разному.

Новгородец предпочитал шезлонг. В шортах, в сандалиях, по пояс обнаженный, бородатый и тучный, он, как Зевес, перелистывал бедекеры, поясняя ребятам с полюса холода меняющиеся морские пейзажи. А моего друга можно было видеть и в машинном отделении, и на суше, на шлюпке, отошедшей от борта, и даже на капитанском мостике, куда пускали далеко не каждого.

Линдос, Ираклион, Фест...

Везде, как ни странно, рядом со знаменитым писателем брел щербатый пузатенький человек в бейсбольном кепуне и с большой кожаной сумкой через круглое плечо. На палубе судна Эдик Пугаев (а это, естественно, был он) ни на шаг не отходил от Ильи Петрова (новгородского), зато на суше он был тенью моего друга. А тень, она нас знает.

Конечно, Илья не терпел Эдика, но воспитание не позволяло ему прогонять тень. Он терпел, он вынужден был терпеть Эдика. Более того, он уже начинал присматриваться к щербатому человечку. И когда Эдик, скажем, просил знаменитого земляка поддержать пару минут свою красивую кожаную сумку (это обычно случалось при выходе в очередном порту или, наоборот, при возвращении на судно), Илья пыхтел, но в просьбе Пугаеву не отказывал. Не отказывал, несмотря на то, что повторялись такие сцены с завидным постоянством. Стоило замаячить впереди таможенному пункту, как Эдик Пугаев срочно вспоминал — он забыл в каюте

носовой платок или сигареты, а значит, срочно передавал свою красивую сумку писателю. Илье, впрочем, это не мешало. Ни один таможенник не мог устоять перед мировой знаменитостью. Таможенники и даже работники паспортного контроля, улыбаясь, протягивали писателю его знаменитый роман «Реквием по червю», изданный на новогреческом, а кто-нибудь из них, для удобства, вешал сумку Эдика на свое крепкое плечо. Понималось, понятно, что сумка принадлежит Петрову.

Только Эдик знал, чем он обязан писателю, а потому старался, несмотря на зависть, относиться к нему дружелюбно и просто.

Если, например, они садились отдохнуть в тени пальм на площади Синтагма или занимали столик в открытом кафе на набережной Родоса, Эдик нисколько не жалел сигарет (купленных в Одессе) и непременно угощал сигаретой Петрова.

Добрый жест требует ответа.

Илья пытел, но брал сигарету.

— Эдик, я видел у вас журнал. Формат, как у болгарского «Космоса». Вы что, занялись языком?

— Зачем? — искренне удивлялся Эдик. — Мне своего хватает по горло. Это «Ровесник», я в Одессе, в уцененке, взял шесть номеров. Не покупать же журналы за валюту, а в «Ровеснике», скажу вам, есть все. Мне, например, интересно о музыке. Для меня это первое дело — о музыке. — Эдик несколько даже заносчиво поглядывал на Петрова. — Вот вам как биттлы? Мне, например, нравятся. На них пиджачки, галстуки. А «Кисс», те распоясались. Размалеваны так, что в Березовку их бы и не пустили. Правда?

Илья пытел:

— А классика? Что думаете вы о классике?

— О! — закатывал глаза Эдик. — Класс!

В магазинах, куда завлекали знаменитого писателя доброжелательные греки, Эдик, пользуясь популярностью писателя и деликатно дав понять грекам — не

для себя, охотно скупал «бананы» из плащовки, модные курточки «парка», свитера типа кимоно. Как другу знаменитого писателя, ему уступали с большой скидкой. А на вопрос Ильи, как он, Эдик, относится к МВ (тогда о ней впервые заговорили в открытой печати), Эдик ответил совершенно откровенно:

— А мне-то что до нее? Ну, знаю, соорудил ее ваш кореш. Я его помню еще по Березовке. Залезет с книжкой в кусты, а потом бежит в деревню: «Шпионы!»

Эдик неодобрительно хмыкнул:

— Этот Стеклов, смотри-ка, МВ построил. А захоти я на ней прокатиться, ведь не даст. Я его куличками кормил, а он не даст.

— На МВ нельзя прокатиться, Эдик.

— Да ну, это только говорят так. На комбайне «Нива» тоже вроде бы не прокатишься, а я на нем в соседнюю деревню ездил.

— МВ передвигается во времени, — напомнил Пугаеву Илья. — Не в пространстве, как мы привыкли, а во времени.

— Это лишнее, — махнул Эдик рукой. — Если хотите, лучшее время это то, в котором мы обитаем.

Подозреваю, Илья терпел при себе Эдика и ради таких откровений.

А новгородец обнаружил в Пугаеве совсем другие достоинства. Например, потрясающую зрительную память. Если Эдик бывал с Ильей (новосибирским) в знаменитом кабаке «Афины ночью», или в мрачных закоулках Пирея, или на ночных сборных пунктах партии «Неа демократия» или рассматривал на древних мраморных плитах Айя-Софии знаменитые изображения дьявола и ядерного взрыва, он передавал все это новгородцу настолько зримо, что писатель восхищенно комкал пальцами свою волнистую рыжую бороду.

Новгородец искал в Эдике душу.

Но Эдику это было все равно. Он вовсе не собирался надолго оставаться глазами новгородца и изрекателем

**сомнительных парадоксов для новосибирца. Истинная, главная цель заграничного путешествия открылась перед Эдиком в Стамбуле, когда впервые в своей жизни он узрел место, где можно купить все.**

Разумеется, этим местом оказался Крытый рынок, говоря по-турецки — Капалы Чаршы.

Раскрыв рот, слушал Эдик древнюю басню о том, как на одном иностранном корабле, пришедшем в Стамбул, вышел из строя некий весьма точный и весьма засекреченный механизм. Каждый час простоя обходился капитану в тысячу долларов. Тогда кто-то посоветовал капитану сходить на Капалы Чаршы, заметив, что там в принципе можно купить не только нужный ему механизм, но и весь его корабль в разобранном виде. Капитан невесело посмеялся над не очень удачной шуткой, но на рынок заглянул. К его изумлению, первый же мелкий торговец зажигалками свел его с нужными людьми. Через сутки корабль вышел из Стамбула и все его механизмы, в том числе и засекреченные, нормально работали.

Эдик растерялся.

На Крытом рынке действительно было все. Зерно, джинсы, медные блюда, кофе, обувь, «кейсы-атташе», галстуки из Парижа, романы капитана Мариетта, пресный лед, золотые перстни, старинные медали, рубашки из марлевки...

Всё!

Даже водный гараж тут можно было купить. Причем не где-нибудь на отшибе, а прямо у дворца Гёксу.

Пока Петров (новгородский) изучал бедекеры, Эдик Пугаев тщательно выпытывал у опытных людей, сколько стоит килограмм дешевого белого золота и что можно получить за десяток химических карандашей или за пару расписных деревянных ложек, поторговавшись с каким-нибудь турецким чудаком в феске. Он, Эдик, если уж честно, любую проблему умел ухватить ничуть не слабее знаменитых писателей.

И про «шпиона» Эдик, кстати, вспомнил не просто так.

Однажды в детстве я впрямь встретил «шпиона».

Не знаю, что мог делать иностранный шпион в нашей крошечной, затерянной в лесах и в болотах Березовке, разве что подсчитывать количество съеденных и проданных Эдиком куличков, но для меня это, без сомнения, был шпион.

Я любил сидеть на высоком берегу Томи, под лиственницами. Было мне лет одиннадцать, и я уже задумывался о Будущем — каким оно может оказаться? Внизу шумела, потенькивала река, осенняя, прозрачная. Осыпались иглы с лиственниц — рыжие, светлые. Прислушиваясь к вечному шуму, я сидел на своем утесе и мечтал о МВ, которую когда-нибудь построю, мечтал о замечательных подарках, которые привезу из Будущего своим друзьям.

Размышлениям помешал шум шагов.

Это были чужие шаги.

Я прекрасно знал всех жителей Березовки, я с закрытыми глазами мог определить, кто идет по улице. Но эти шаги были незнакомы мне.

Я обернулся и замер.

Приподняв лапу лиственницы, на меня внимательно глядел пожилой человек.

Все мужики Березовки ходили в бессменных телогрейках, иногда в тяжелых ватных пальто, кой у кого сохранились бушлаты или шинели. На этом человеке все было незнакомо: короткая куртка с непонятными металлическими застежками, берет на голове, узкие брюки из грубого, но очень хорошего материала. И все это не выглядело новеньким, как злосчастная кепка Ильи, это были добротные, хорошо разношенные вещи, они явно нигде не жали, не давили, не доставляли никаких неудобств хозяину, неуловимо знакомому мне, но чужому, чужому, чужому!

Я сразу понял: шпион!

Шел тысяча девятьсот пятьдесят второй год. «Холодная война» бушевала и над нашей деревней. Будь возможность, я тут же кинулся бы в сельсовет, но незнакомец уселся посреди единственной тропинки и, не спуская с меня печальных глаз, вытащил из кармана сигарету. Это была именно сигарета, сейчас-то я знаю. Так же печально он закурил, и в какой-то момент мне даже пришлось в голову, что шпион, наверно, устал от своей давно безнадежной службы и явился с повинной.

— Ты играй... Не бойся... Я просто тут посижу...

«Не наш человек! — получил я новое подтверждение. — Любой березовский мужик прежде всего заинтересовался бы, что я тут делаю. А этот — играй... Как будто можно играть, когда на тебя смотрит иностранный шпион!»

Я очень не хотел, чтобы он смотрел на меня.

Под его взглядом я вдруг почувствовал, какие на мне латаные-перелатанные штаны, какие грубые у меня руки — в непроходящих цыпушках. Я не мог убежать, не мог спрятаться. Немея от страха, я прикидывал, каких сведений потребует от меня шпион, и обрадовался, поняв, что никаких особенных секретов не знаю. Ну, Эдик ворует дробь у своего дяди, ну, мы с Ильей таскаем огурцы из чужих огородов... Вряд ли это интересовало такого крупного, такого пожилого, такого иностранного шпиона.

И похолодел.

Вспомнил: мама шепталась с начальником дорстроя. Начальник дорстроя приезжал в Березовку и о чем-то долго шептался с мамой, и если я проговорюсь, понял я, он может устроить диверсию на нашей и так-то не очень надежной грейдерной дороге.

— Думаешь о Будущем?..

Шпион видел меня насквозь! Он читал мои мысли! Я с настоящим ужасом смотрел на коробочку, которую он извлек из кармана:

— Это тебе... Можешь показать и Илюхе...

«Он все знает! Он очень опытный шпион! Сейчас он меня подкупит, и я ничего не смогу с этим поделаться!»

Повинуясь взгляду незнакомца, я дотянулся до квадратной, холодной на ощупь коробочки. На ее боку выступала красная кнопка, совсем как на аппарате кинопередвижки, иногда заглядывающей к нам в Березовку.

— Нажми на кнопку!

«Сейчас я нажму, и вся деревня, и вся грейдерная дорога, и весь этот берег взлетят в воздух!»

Но послушно нажал.

Нажал и отбросил коробочку.

Не мог не отбросить.

Крышка медленно стала приподниматься, под нею послышалось гнусное старческое брюзжание, столь же недовольное, сколь и гнусное, что-то там зашевелилось, забухтело, разумеется, без слов, но я слишком хорошо знал, какие слова в таких случаях произносит, скажем, конюх Ефим. А потом из-под крышки высунулась мохнатая зеленая рука. Она нажала на кнопку, брюзжание смолкло, и крышка захлопнулась.

Этого я не выдержал.

С криком: «Шпион!» — я перемахнул через длинные ноги незнакомца и кинулся в деревню.

## 7

Не знаю, было ли лучшим время, в котором мы росли, но оно было счастливым, хотя и путаным временем.

Вернувшись к моему тайнику над Томью, ни кузнец Харитон, ни одноногий дядька Пугаева, вооруженный берданкой, ни я — мы, конечно, никого не обнаружили. Ни окурка, ни коробочки тоже не было. И лишь много спустя, через много, через действительно много лет, я постепенно припомнил, понял, осознал, что я видел вовсе не шпиона, а... самого себя. Это был период первых испытаний МВ, и я не нашел ничего лучшего, чем навестить свое детство.

Кстати, есть мнение, что контакты между разными временными уровнями проще всего осуществлять на делях. Но Большой Компьютер, останавливая выбор на Петровых, обсчитал и такой вариант.

Оба писателя были люди достойные. Оба относились к людям увлекающимся, но умеющим ладить с живущими рядом. К тому же над ними не висел дамоклов меч долгов и обязательств, и оба они любили поговорить. Известно: искусство беседы — одна из форм писательского труда.

Кроме специальной Комиссии (футурологи, социологи, психологи, медики, демографы, дизайнеры, фантасты), писателями, естественно, занимался я.

Илья Петров (новгородский) сразу сказал: в эксперименте он, конечно, примет участие, но он вовсе не думает, что мы и впрямь побываем в будущем мире. Более того, он готов был спорить, что мир 2081 года, а мы планировали именно этот год, гораздо более окажется похожим на наш, чем, скажем, двадцатые годы нашего века походят на восьмидесятые.

«По-вашему, мы мало меняемся?»

Новгородец покачал головой:

«К сожалению».

«А спутники Земли? Я имею в виду искусственные. А путешествия на Луну? А обживаемый океан? А Большой Компьютер? А МВ, наконец?»

Петров вздохнул:

«О прогрессе человечества следует судить по поведению людей в общественном транспорте».

Совсем другое мучило моего друга.

«Если ты прав, — сказал он мне, — если мы впрямь посетим Будущее, то, возможно, я смогу наконец, как говорил мой незабвенный друг Уильям Сароян, написать Библию».

Я покачал головой.

Вряд ли, считал я, мимолетный визит в Будущее и поверхностный (он не может быть иным) взгляд на



него одарит нас откровениями. Удивит — да, поразит — да, но откровения...

Что, например, почерпнул бы человек двадцатых годов нашего столетия, найди он на своем столе газету из восьмидесятых?

«Бамако. По сообщениям из Уагадугу декретом главы государства, председателя Национального Совета революции Буркина-Фассо, распущено правительство этой небольшой державы...»

«Рим. В итальянском городе Эриче открылся международный семинар ученых-физиков, посвященный проблемам мира и предотвращения ядерной войны...»

«Женева. В женевском Дворце наций открылась международная встреча правительственных организаций по палестинскому вопросу...»

«Варшава. В польском городе Магнушев состоялась массовая манифестация, посвященная сорокалетию боев на западном берегу Вислы...»

Что поймет в этих сообщениях человек, не переживший вторую мировую войну? Что подумает он о государстве Буркина-Фассо? Как воспримет сам термин — ядерная угроза? Какого мнения станет придерживаться, рассматривая палестинский вопрос?

Нет, я не думал, что, побывав в Будущем, мой друг напишет Библию, но я был уверен, что в Будущем мы все же, несмотря на сомнения новгородца, побываем.

К сожалению, прочесть греческую повесть Ильи Петрова (новгородского) я не успел. Я могу судить о ней только косвенно. Догадываюсь: ее герой, каким бы он ни был вначале (герой, понятно, как и его прототип Эдик Пугаев, путешествовал по Греческому архипелагу), непреклонно должен был спасти свою душу. Если даже он начал свой путь с мелких спекуляций, увидев лазурные бухты Крита, увидев величественные руины Микен, побродив в тенистой Долине бабочек, густо наполненной нежной дымкой веков, он не мог, конечно, не переродиться, и в родную Березовку он,

опять же, привез не иностранные шмотки с этикетками модных фирм, а толстые цветные монографии по истории античного искусства, чтобы долгими летними вечерами на полянке перед деревянным клубом под сытое мычание коров с наслаждением рассказывать оторопевшим землякам об Афродите, Геракле, о первых олимпийцах, о славных битвах и великих крушениях, не забыв и о паскудном Минотавре, немножко похожем на племенного быка.

Я уверен, необыкновенный талант рыжебородого новгородца заставил бы читателя поверить в такое перерождение, и я радовался бы вместе с этими читателями.

Как иначе?

Переродился же человек!

Однако совсем иначе подошел к тому же прототипу мой новосибирский друг.

Верный идеям лаконизма (вспомните Л. Толстого с его знаменитой фразой о доме Облонских, в котором все смешалось, или Д. Вильямсона с его фразой о Солнце, погасшем 4 мая 1999 года), Илья Петров (новосибирский) начал рукопись с емкой фразы: «Эдик Пугаев начинал с деревянной ложки...»

Работая над черновиками, Илья не менял настоящих имен. Это помогало держать в голове жесты, характерные выражения, мимику. Чтобы не исказить краткий пересказ рукописи, я воспользуюсь тем же приемом.

Итак...

«Эдик Пугаев начинал с деревянной ложки...»

Условно рукопись называлась «Ченч».

Этим словечком в странах Ближнего Востока и Южной Европы называют давным-давно известный натуральный обмен. Отдав деревянную ложку за африканского слона, вы вовсе не совершаете мошенничества. Вы просто производите ченч. Вы просто пользуетесь ситуацией, сложившейся так, что именно в этот момент ва-

шему партнеру нужнее деревянная ложка, а не слон.

Идею ченча Эдик ухватил сразу.

Но Эдик не торопился. Если уж забрался в такую даль, что с палубы не видно не только родной деревни, но даже родных берегов, то этим, конечно, следовало воспользоваться. Не лежать же, как новгородец, в шезлонге, и не бегать вверх-вниз по судну, как новосибирец. Вот ребята с полюса холода были понятны Эдику: рано или поздно в карточной игре кому-то начинает везти.

— Красиво тут, — сказал Эдик, присаживаясь рядом с новгородцем и поглядывая на портовые постройки. — Красиво, а вот не лежит душа.

Судно стояло на рейде Пирея.

— Вон тот домик, — указал Эдик на роскошную виллу, прилепившуюся к зеленому утесу, — он, наверное, принадлежит Онасису. Ему тут, наверное, все принадлежит.

— Нет, эта вилла принадлежит псу грека Пападопулоса, бывшего крупного торговца недвижимостью, — ответил всезнающий новгородец. Он все знал из своих пухлых бедкерров. — Пападопулос, умирая, очень сердился на своих родственников, а потому указал в завещании, что все его имущество должно перейти к любимому псу.

— А что, греческие псы живут долго?

— Не думаю. Однако даже десяток лет такого ожидания может привести в отчаяние самого крепкого грека.

— А что, в Греции не продают собачий яд?

— Не думаю. Однако Пападопулос, умирая, выделил приличную сумму для телохранителей пса. Они, наверное, и сейчас покуряют на террасе.

Эдик присмотрелся, но ничего такого не увидел.

— Дома лучше, — вспомнил он родную Березовку. — У нас никто не посмел бы оставить наследство псу.

— Дома лучше, — подтвердил новгородец.

— Что вы читаете? Это иностранная газета?

— Да, это греческая газета.

— А что в ней пишут?

— Разное... Вот, например... На Кипре, рядом с поселком Эпископи, раскопали руины древнего дома. Когда мы будем на Кипре, вы все внимательно рассмотрите, Эдик. Я на вас полагаюсь. Пишут, там найдены останки людей и лошади. Похоже, дом завалило при землетрясении, случившемся глубокой ночью, не менее чем шестнадцать веков назад.

— А как узнали, что ночью?

— Рядом со скелетом лошади лежал фонарь.

— Зачем лошади фонарь? — удивился Эдик.

Новгородец не ответил. Он уже привык к образу мышления Эдика. Он спросил:

— Вы задумывались когда-нибудь о Будущем? Хотелось бы вам побывать в Будущем, выяснить, что с вами там может случиться?

— Вот еще! — обиделся Эдик. — Там, в Будущем, я, наверное, облысею, а волосы не цветы, их заново не посеешь. Зубы, например, не проблема, у меня есть знакомый дантист, но волосы... — Эдик задумчиво сплюнул за борт, метя в пролетающую на уровне борта чайку. — Волосы не сохранишь. Если уж куда заглядывать, так это в прошлое.

— Почему?

— Да они там, сами подумайте, что знали? Жгли костры, гонялись пешком за дичью. А у нас телевизоры, спутники, вот лодка-казанка. Книжки еще... — на всякий случай покосился он на писателя. — Мы бы любому древнему греку дали хоть сто очков, хоть какой будь умный!

— А еще... — опасливо хихикнул Эдик. — Взяли моду на мечях драться, варвары!

Эдика Пугаева очень задели и фонарь, найденный при погибшей лошади, и роскошная вилла, в которой скучал одряхлевший пес богатого покойного грека Пападопулоса. Особенно последнее задело.

Вот ведь он, Эдик Пугаев, живет в Березовке в не-

плохом, конечно, но, в общем, в обычном доме, и все удобства у него во дворе, а тут целая вилла, а занята только псом!

«Нет! — твердо решил Эдик. — Я у этих проклятых капиталистических частников обязательно откусая что-нибудь такое! Тем более товарец для ченча у меня есть».

Он, правда, не сразу решил, что именно такое хорошее откусает он у проклятых капиталистических частников.

В Стамбуле, например, Эдику ужасно понравилась историческая колонна Константина Порфирородного. На вершине ее когда-то сиял огромный бронзовый шар, но на шар Эдик опоздал — шар еще в XIII веке хищники-крестоносцы перечеканили на монеты. Но в конце концов можно обойтись и без бронзового шара, колонна сама по себе хороша. Непонятно только, сколько карандашей или расписных деревянных ложек потребует за колонну глупый турок, приставленный к ней для охраны, и как отнесутся земляки Эдика к тому, что вот на его, пугаевском, огороде будет возвышаться такая знаменитая, такая историческая колонна?

Поразмыслив, Эдик остановился на автомобиле.

В Афинах, да и в любом другом городе, новенькие и самые разнообразные автомобили стояли на обочине каждой улицы. Подходи, расплачивайся и поезжай, в баки и бензин залит... А автомобиль, понятно, не колонна. Березовка возгордится, когда их земляк, скромный простой человек, пока еще, к счастью, не судимый, привезет из-за кордона настоящий иностранный легковой автомобиль. Умные люди знают: человек любит не жизнь, человек любит хорошую жизнь.

Это сближает.

Отсутствие валюты Эдика ничуть не смущало. Главное, инициатива. А подтвердить ее он найдет чем. В багаже Эдика ожидали деловых времен примерно пятьдесят карандашей 2М, семь красивых расписных ложек

и три плоских флакона с одеколоном «Зимняя сказка» — все вещи на Ближнем Востоке, известно, повышенного спроса.

И пока судно шло и шло сквозь бесконечную изменчивость вод, пока возникали и таяли вдали рыжие скалы, пока взлетали над водой удивительные крылатые рыбы и всплывали, распластываясь на лазури, бледные страшные медузы, пока голосили чайки, выпрашивая у туристов подачку, Эдик все больше и больше креп в той мысли, что делать ему в Березовке без иностранного автомобиля теперь просто нечего.

Старинные пушки глядели на Эдика с крепостных стен. В арбалетных проемах мелькали лица шведок и финок. Западные немцы с кожей вялой и пресной, как прошлогодний гриб, пили водку в шнек-барах. Эдик пьяниц презирал, как презирал заодно чаек, рыб, медуз и то Будущее, о котором писали Петровы. Это у природы нет цели, презрительно думал он, это у природы есть только причины. У него, у Эдуарда Пугаева, цель есть, и он дотянется до этой цели, хоть вылей между нею и им еще одно лазурное Средиземное море.

Начал он с Афин.

Хозяйка крошечной лавочки с удовольствием отдала за расписную деревянную ложку десять (одноразового пользования) газовых зажигалок «Мальборо». Зажигалки Эдик удачно загнал за семь долларов ребятам с полюса холода. На сушу они не ступали, потому и не знали цен. А за те семь долларов Эдик купил два удивительных бледно-розовых коралловых ожерелья, которые в тот же день сплавил симпатичным девочкам из Мордовии за две бутылки водки.

Это была уже серьезная валюта.

Имея на руках серьезную валюту, Эдик получил право торговаться.

«Семь долларов! — втолковывал ему на пальцах упрямый усатый грек. — Семь долларов и ни цента меньше! Это настоящая, это морская губка!»

«Два! — упирался Эдик. И показывал на пальцах: — Два! И не доллара, а карандаша. Томской фабрики!»

Губка, конечно, переходила к Эдику, а от него к ребятам с полюса холода. Долларов у них уже не было, Эдик взял с них расписными ложками.

Еще пять карандашей Эдик удачно отдал за чугунового, осатаневшего от похоти сатира. Эдик не собирался показывать сатира друзьям, хотя подобный соблазн приходил ему в голову. Просто он вовремя вспомнил, что на одесской таможне каждый чемодан просвечивают, и никуда он этого сатира не спрячет, поэтому, улучив удобный момент, он не менее удачно передал сатира за три деревянные ложки и за два доллара неопытной и стеснительной туристке из-под Ярославля, кажется, незамужней.

Дела шли так удачно, что Эдик сам немножко осатанел. Дошло до того, что однажды, проходя мимо торговца цветами, Эдик без всякого повода нацепил ему на грудь значок с изображением пузатого Винни-Пуха. Было приятно смотреть на улыбающегося грека, но, пройдя пять шагов, Эдик одумался, вернулся и изъяс из цветочной корзины самую крупную, самую яркую розу с двумя еще нераспустившимися бутонами. Грек не возражал, греку тоже было приятно, он даже выкрикнул на плохом английском: «Френшип!», а довольный Пугаев, радуясь собственной находчивости, быстренько передал красивую розу двум красивым девушкам из Сарапула за обещание отдать ему при возвращении на борт совершенно ненужную им бутылку водки, купленную ими по инерции при выходе из Одессы.

Даже на знаменитых писателей Эдик скоро стал посматривать свысока. Книги пишут? Бывает. Но книгу прочтут и отложат в сторону, а вот автомобиль, если он у тебя есть, всегда пригодится. На автомобиле можно поехать в Томск и выгодно загнать на рынке ранние овощи. Так что напрасно все уж так лицемерно поругивают деньги. Деньги, они полезны. Например, театр

Дионисия в Афинах археологи отыскиали только после того, как обнаружился его план на некой древней монете. Сам Петров рассказывал! Так что пролетит он еще, Эдик Пугаев, в собственном иностранном автомобиле по родной, по милой Березовке, и не одна краля вздохнет, глядя ему вслед и завистливо вдыхая сладкий запах бензина.

«Подумаешь, Будущее!» — фыркнул Эдик, свысока поглядывая на писателей.

Параллельно основным накоплениям (водка, дешевое египетское золотишко, доллары), тем, что должны были пойти в уплату за иностранный автомобиль, Эдик делал и мелкие — для подарков. Приобрел шотландскую юбочку килт для строгой тещи (она ведь не знает, что юбочки эти шьются для мужиков), прикупил длинные цветные трусы-багамы для своего не менее строгого тестя — пусть пугает мужиков в деревенской бане. Стало привычным делом в любой толпе отыскивать взглядом Илью Петрова (новосибирского) и вешать ему на плечо красивую кожаную сумку. Двинулись туристы вниз по трапу в чужую страну, сулящую новые приобретения, не теряйся, извинись, тебя не убудет, смело вешай сумку на плечо писателя: я, мол, сигареты забыл, я сейчас за ними сбегаяю! Петрова ни одна таможня не тронет, он, Петров, знаменитость. А если вдруг и обнаружат в сумке, висящей на плече писателя, сибирскую водку, так он-то, Эдик, тут при чем? Он-то, Эдик, откусается. Он скажет: «Не знаю. Сумка моя, водка не моя. Ее туда, наверно, писатель поставил. Пьет, наверно, втихую, старый козел!»

В общем, Эдик не скучал, кроме, конечно, того времени, когда их водили по историческим местам.

Скажем, Микены.

Слева горы, справа горы. И дальше голые горы. Ни речки, ни озера, ни магазина, ни рынка. Трава выгорела, оливы кривые. Понятно, почему древние греки тазами лакали вино, а потом рассказывали небылицы про своих



богов. Весь-то город — каменные ворота, да колодец, да выгребная яма. Тут не хочешь, да бросишь все, поведешь компашку на какую-нибудь там Трою.

Тишь. Скука. Жара.

Эдик в таком месте жить бы не стал. Он знал (мек-туб!), ему судьбой предначертано (арабское слово, понятно, он подхватил у Петровых) скопить к моменту возвращения в сказочный Стамбул как можно больше белого золотишка, зелененьких долларов и, само собой, водки.

А уж там не уйдет из его рук «тойота»!

Именно «тойота». Он немножко поднаторел, и приобретать «форд» или «фольксваген» ему не хотелось.

Слаще всего в эти дни было для Эдика представлять свое появление в Стамбуле.

Стамбул!

Там, в Стамбуле, на Крытом рынке, на чертовом этом Капалы Чаршы, ожидал его, тосковал по нему, жаждал его появления самый настоящий, самый иностранный автомобиль!..

9

На этом рукопись новосибирца обрывалась.

— А автомобиль? Дорвался Эдик до иностранного автомобиля?

— Пока не знаю.

— Как? Ты же сам плавал с Эдиком. Ты лично таскал на плече его кожаную сумку.

— Вторая часть еще не написана, я только обдумываю ее.

— Да, — заметил я. — Такой образ привлечет внимание общества...

— Это и плохо! — занервничал Илья. — В этом и заключается великий парадокс. Чтобы избавить Будущее от эдиков, о них надо забыть. Писатель же все называет вслух, и эдики в итоге въезжают в Будущее

контрабандой, через чужое сознание, через чужую память.

— Не преувеличивай. Кто вспомнит в Будущем о таких, как Эдик?

— Книги! — воскликнул Илья. — Люди Будущего не раз еще будут обращаться к нашим книгам. А я ведь не написал еще о физике Стеклове, о его невероятной машине, которую он подарил миру, я почему-то пишу пока об эдике, хотя писать о нем мне вовсе не хочется. Лучшие книги мира, Иван, посвящены мерзавцам. Не все, конечно, но многие. Эти эдики, они как грибок. Сама память о них опасна. Каждого из нас перед началом эксперимента следовало бы поддержать в интеллектуальном карантине лет семь: мы не имеем права ввозить в Будущее даже отголосок памяти об эдиках.

— Можно подумать, что мы только и будем говорить о нем встречным.

— Боюсь, — сказал Петров, — как бы среди встречаемых мы не встретили самого Эдика.

## 10

В сентябрьский дождливый вечер мы уходили в Будущее.

Новый корпус НИИ, возведенный в районе бывшего поселка Нижняя Ельцовка, давно вошедшего в черту города, был почти пуст. В здании оставались энергетики, техники, вычислители, члены специальной Комиссии и, конечно, оба писателя, явившиеся из-за дождя в шляпах и в плащах, впрочем, достаточно приличного покроя, хорошо обдуманного нашими дизайнерами.

Выбор на участие в первой вылазке (ставшей, как известно, последней) пал на моего друга. Новгородец не расстроился. С видимым удовольствием он возлежал в глубоком кресле; он спросил, указывая на пузатую капсулу МВ, торчавшую посреди зала:

— Она исчезнет?

Мой друг хмыкнул:

— Вероятно.

И нервно засмеялся:

— Впрочем, я исчезну вместе с ней. А я даже не знаю, больно ли это?

— Не волнуйся, — успокоил я Илью. — Принцип действия МВ, он, известно, лежит вне механики.

— И я даже не знаю, — не дослушал меня Илья, — действительно ли мы попадем в Будущее или видения, если они перед нами пройдут, являются лишь побочным эффектом всех этих не столь уж ясных мне физических экспериментов?

— Не волнуйся, — успокоил я своего друга. — Мы попадем именно в Будущее, а потом вернемся сюда. И уверяю тебя, мы будем находиться в Будущем столь реальном, что там запросто можно набить шишку на лбу. Поэтому помни, хорошо помни: никаких непродуманных контактов. Мы можем оказаться в пустынном месте, нас это устроит, но мы можем оказаться и в толпе. Если тебе зададут вопрос, отвечай в меру его уместности, если тебя ни о чем не спросят — помалкивай. Ты можешь попасть в центр дискуссии, води себя естественно. Отвечай, но не навязывайся. Слушай, смотри, запоминай, сравнивай. Случайная фраза, случайный жест — для нас нет ничего неважного. Ведь это наше Будущее, которое, опять же, создавали мы сами!

. . . . .  
. . . . .  
. . . . . странные, без форм, фо-  
нари, даже не фонари, а радужные пятна мерцающего  
тумана, плавали в рыжей дубовой листве. Мы не видели  
ни проводов, ни опор, небо висело над нами мягкое,  
вечернее, и нигде не раскачивались те бесконечные, за-  
копченные, скучные, как сама скука, троллейбусно-

трамвайно-электро-телеграфные провода, та тусклая мертвая паутина, что в конце XX века оплетала чуть ли не всю поверхность материков.

— Лужи! — удивился Илья вслух, но почему-то шепотом. — Взгляни, лужи!

— Почему им не быть?

— Они веселые...

Похоже, он с кем-то спорил. Может, со своим новгородским коллегой, не знаю, оставшимся сейчас далеко под нами.

Подумав так, я сразу ощутил всю тяжесть временных пластов, всю тяжесть утекших и продолжающих утекать мгновений, физическую плотность которых мы столь душно ощутили в момент перехода МВ в Будущее.

МВ мы оставили в каких-то пышных кустах. Не похоже, что в заросли кто-то заглядывал, рядом ни единого следа, хотя на соседних аллеях перекликались, шумели люди, как за час до начала футбольного матча. Впрочем, как мы ни вслушивались, ни в одном голосе, даже самом громком, невозможно было уловить и тени той агрессивности, которой, как это ни странно, долгое время питался спорт.

Мы будто вернулись в дом, в котором давно не бывали.

Дом был ухожен. Воздух напитан влажными запахами. Веселые дорожки из пористого упругого материала вели в глубину огромного сада или парка. Все было знакомо и все внове. А еще заметной была некая необычная успокоенность в самой природе и даже в голосах. Не осенняя, совсем другая успокоенность, которой я до сих пор не могу найти четкого определения. И наш НИИ не был виден, возможно, его перенесли в какое-то более удобное место. Я уж не говорю о тех деревянных одноэтажных домиках, что так долго и не всегда мирно коптели небо в нашем далеком времени.

Илья толкнул меня локтем:

— Не страшно?

— Это наш город, — заметил я. — Почему нам должно быть страшно?

— А я волнуюсь...

И неожиданно предложил:

— Заглянем на минуту к Курочкину. Где-то здесь должна стоять дача писателя Курочкина. Он домосед, было бы интересно взглянуть на старика...

— Очнись! Какая дача! Какой Курочкин!

— Ну не Курочкин, так Обь. Давай посмотрим на Обь, — нервно запыхтел Илья. — Мне трудно без привычных ориентиров, мне нужна привязка. Город можно перестроить, дачу снести, человека переселить, но река всегда остается рекой, если над ней даже куражатся. Идем же, глянем на Обь.

— Нет, Илья. У нас другая программа.

В потоке людей, вдруг хлынувшем из боковой аллеи, мы ничем особенным не выделялись. Пожалуй, несколько старомодны, так нам уже не по сорок лет... Ну, бредут себе по аллейке два немолодых человека, головы непокрыты, ветерок трогает седину. Приятно шелестит дождь, совсем не осенний, домашний, какого не испугается и ребенок. А люди...

Люди, похоже, спешили.

— Куда они могут спешить?

Илья только пожал плечами.

В стороне, за дубовой рощицей, раздавался время от времени неясный механический шум — то ли шипение пневматики, то ли что-то нам неизвестное; шипение, и сразу гул множества голосов.

— Пикник? Массовое гуляние?

— Скорее уж встреча с Эдиком, — опять запыхтел Илья. И схватил меня за руку: — Ты что, не видишь? Ты смотри себе под ноги!

Пораженный, я даже остановился.

Упругая дорожка, по которой мы так хорошо шли, вьющаяся, разветвляющаяся, там и там впадающая в большую аллею, почти везде была весело разрисована

цветными мелками. Я и не заметил их потому, что они были веселыми — эти мелки, которыми тут развлекался явно не один человек.

«Сегодня у эдика!»

«Ждем у эдика!»

«Приходи к эдику!»

«Весь вечер у эдика!...»

Неизвестный нам эдик, пусть имя его и писалось со строчной буквы, был здесь, кажется, личностью популярной.

Но кто он? Почему его имя поминается так часто? Почему к нему рвется столько людей, и где он принимает такую прорву народа?

Неожиданно мы развеселились.

— Эдик, да не тот, — подмигнул мне Илья, правда, все еще излишне нервно.

А в довершение ко всему в той стороне, где, по нашим предположениям, должен был находиться академгородок, вдруг вознеслись в вечернее небо бесшумные сияющие фонтаны, каскады, огромные облака огней. Они вспухали, торжественно лопались, расцветали в небе, как чайные розы, и шум толпы, сошедший с очередного электропоезда (возможно, в конце главной аллеи располагалась станция метро), сразу стал ровней и слышнее.

— Что выкрикивают эти люди? — удивился я.

— Галлинаго...

— Что значит — галлинаго? Зачем они так кричат?

Илья нервно повел плечами.

«Мы в Будущем, — красноречиво говорил этот жест. — Но мы не в том Будущем, куда со временем попадает каждый, разменяв здоровье на годы, а в том необычном, в которое мы попали, ничего пока что не потеряв... Так что не требуй с меня объяснений».

Теперь мы шли по большой аллее.

Наплыв людей, человеческий поток здесь был ошеломляющ. Люди спешили. Улыбки, голоса, смех — мы

не видели озабоченных лиц. Девчушки в коротковатых, но вовсе не нелепых платьишках, обгоняя нас, весело переглядывались, будто знали, откуда мы, но не хотели нас смущать. Юнцы шли группами, иногда обнявшись. Они что-то напевали, они пританцовывали. А иногда все это человеческое море взрывалось одним дружным:

— Галлинаго!

Чувство редкого единения пронизывало атмосферу гуляния, если, конечно, это было массовым гулянием. Было трудно рассмотреть кого-то в отдельности: смеющаяся рыжая женщина (ее закрыло какое-то вьющееся полотнище), приплясывающий кореец с книгой в руке (его всосало в круговорот ликующей молодежи), старик, несущий в низко опущенной руке три розы... Смысл следовало искать не в отдельных лицах, разгадка происходящего явно таилась в общности.

— Ты же писатель... — шепнул я Илье. — Запас слов должен быть у тебя не бедным... Поройся в памяти. Что это за галлинаго?

Одно, впрочем, не требовало пояснений: невероятную толпу, такую разную в каждой своей части, несомненно, объединяло это неизвестное мне слово.

— Галлинаго!

Я похолодел: выкрикнул слово Ильи. И не успел он закончить, люди вокруг поддержали его:

— Галлинаго!

Симпатичный кореец с книгой вынырнул из толпы. Приплясывая, торжествуя, он восторженно поддержал всеобщее ликование:

— Он опять с нами!

— Ты что-нибудь понял?

Илья нервно запыхтел:

— Чего ж не понять? Этот галлинаго... Он опять с нами!

И вдруг заспешил. Заставил меня обогнать кого-то. Я не боялся заблудиться, дорожки к МВ вели не такие уж запутанные, но спешка была мне не по душе.

Я вдруг понял, что Илья торопится за тем корейцем, собственно, даже не за ним, а за книгой, которую кореец держал в руке. С другой стороны, почему бы писателю не поинтересоваться, что именно читают в последней четверти XXI века?

И вдруг он остановился:

— Вспомнил!

— Что вспомнил? — Краем глаза я сам невольно следил за корейцем, то появляющимся, то вновь скрывающимся в праздничной толпе.

— Галлинаго!

— Ну? — поторопил я.

— «Буро-черная голова... — Илья явно цитировал. — По темени продольная широкая полоса охристого цвета... Спина бурая, с ржавыми пятнами... Длинный нос, острый, как отвертка... Ноги серые, длинные, с зеленоватым отливом... Гнездится на болотах, в болотистых еловых лесах...» Неплохо, а? — похвастался он. — Я не зря читал Брэма. Я могу даже сказать, с чем едят этого галлинаго, точнее, с чем мы ели его и с чем его ел Эдик.

— При чем тут Эдик? — не понимал я. — И кто он, этот чертов галлинаго, гнездящийся в еловых лесах?

Илья засмеялся. Илья не без торжества выпалил:

— Галлинаго, галлинаго Линнеус! Не водись этот галлинаго под нашей Березовкой, мы могли и не дотянуть до Будущего.

— О чем ты?

— Да о наших маленьких галлинаго, о наших болотных куличках. Помнишь, Эдик утверждал, что вкуснее всего они под чесночным соусом? Соусом он называл растертый чеснок.

— Наши кулички?

— Ну конечно! Те самые, последнюю парочку которых съел Эдик.

Я растерялся.

Болотные кулички...

Но ликующая толпа уже вынесла нас на обширную,



круглую, прогнутую, как воронка, площадь, и там, над этой площадью, в самом центре ее, над многими тысячами веселых праздничных лиц, обращенных к вечернему небу, мы увидели массивный, высеченный из единой гранитной глыбы монумент, над которым переливались, цвели невесть как высвеченные прямо в небе слова:

*Галлинаго!*

*Он опять с нами!*

Каменный шербатый человечек в бейсбольной каменной кепочке. Каменные нехорошие глаза, прикрытые стеклами каменных светозащитных очков с крошечным, но хорошо различимым фирменным язычком. Каменный зад, горделиво обтянутый каменными джинсами. Каменный «кейс-атташе» в тяжелой левой руке. А правую руку этот каменный пузатый человечек возносил над собой, то ли приветствуя собравшихся, то ли отмахиваясь от их ликующего интереса.

Я ахнул.

Посреди площади возвышался Эдик Пугаев!

Нет, это был не просто Эдик. Это было полное крушение всех надежд, это было дурное, вдруг материализовавшееся предчувствие Ильи Петрова (новосибирского). Эдик Пугаев опять обогнал нас, он и в Будущее попал первым — вот же он, торжествуя, стоит перед нами!

Но так ли?

Торжествуя ли?..

К чему эта легкая асимметрия в каждой отдельно взятой части каменной массивной фигуры? К чему этот легкий, но бросающийся в глаза перебор всего того, что нормальным людям дается строго в меру? И почему вспыхивают в прозрачном, в сияющем, в пузырящемся от свежести воздухе все новые и новые слова?

*Тип — хордовые.*

*Подтип — позвоночные.*

*Класс — млекопитающие.*

*Отряд — приматы.*

*Семейство — гоминиды.*

*Род — гомо.*

*Вид — сапиенс.*

*Имя — Эдик.*

Это же ключ! — вторично ахнул я.

Имя героя не пишут со строчной буквы. Имя героя заслуживает заглавной. Значит, что-то тут не так. Значит, я чего-то не понял, иначе Илья не веселился бы так откровенно, не хохотал бы столь свирепо, не торжествовал бы так открыто и воинственно, и не пылали бы над головой эдика слова, огненные и колючие, будто стрелы.

*Ты ел сытнее других!*

*Ты пил вкуснее других!*

*Ты одевался лучше других!*

*Ты имел больше, чем другие!*

Ликующая толпа замерла, ликующая толпа слилась в одно живое трепещущее тело, мощно противостоящее холодному молчанию монумента. Я чувствовал полную свою слитность с толпой, я был одним из всех, я был молекулой этого великолепного организма, а потому не неожиданность, а торжество принесли мне слова, взорвавшиеся в прозрачном воздухе:

*Но мы спасли галлинаго!*

Толпа взревела:

— Галлинаго! Он опять с нами!

И я успокоенно вздохнул.

Если Эдик Пугаев и прорвался в Будущее, то совсем не в том качестве, о каком мечтал. Если ему воздвигли здесь монумент, то вовсе не из восхищения перед его делами.

— Литературный герой, — кивнул я сияющему Илье. — Твоя работа?

— Возможно.

— К чему такая скромность?

— Ты забываешь, об Эдике пишет и новгородец... Впрочем, — великодушно махнул он рукой, — кто бы

ни написал эдика, я или мой коллега, работу следует признать отменной. Скульптор добавил от себя немного.

— Прими поздравления.

— Оставь!.. Ни я, ни новгородец — мы еще не закончили рукопись.

И тут же спросил:

— Где он?

— Кто?

— Ну, этот симпатичный кореец с книгой. Он же явно не местный, он явно из приезжих. А какую книгу можно таскать в руке, гуляя по незнакомому городу?

— Путеводитель?

— Вот именно.

Как нарочно, из толпы, пританцовывая в такт музыке, льющейся с неба, вновь вынырнул кореец. На его сильном локте сидела крошечная девочка с роскошным бантом в каштановых волосах. Она громко смеялась, и Илья засмеялся так же громко. Я не успел остановить его, он хлопнул корейца по плечу:

— Галлинаго! Он опять с нами!

— О, да! — обрадовался кореец.

— Эдику! Мы утерли нос!

— О, да! — удивился кореец.

— А что тут читают? Я спрашиваю, что тут читают? — Илья потянул книгу из руки корейца, но тот, видимо, не так уж хорошо понимал Илью. Он не выпустил книгу, он потянул ее на себя, инстинктивно прижав к груди веселую девочку с роскошным бантом в каштановых волосах, и мне вдруг показалось, что каким-то десятым чувством он, этот симпатичный кореец, почувствовал в Илье другого, совсем другого человека, совсем не такого, как он сам.

— Илья!

Но Петров сам все понял.

А поняв, резко выдернул книгу из руки оторопевшего корейца и бросился бежать, смешно выбрасывая в сторону ноги.

— Илья!

Он убегал.

— Илья!

Со стороны это, возможно, выглядело смешным, даже, наверное, так выглядело, но мне было не до смеха. Только что я был счастливым среди счастливых, только что я был равным среди равных, только что я радовался со всеми: Эдику утерли нос, а галлинаго, он опять с нами! — и вот я уже чужой, и вместо ощущения счастливого единства — тяжелое ощущение одиночества.

А Илья бежал.

Он меня не слышал.

Он не хотел меня слышать.

Он мчался прямо по лужам, разбрызгивая светлую воду, неся по дорожкам, приводя в радостное недоумение людей, все спешащих и спешащих на праздник возвращения галлинаго, который теперь вновь с нами и, надо полагать, навсегда.

«Зачем ему путеводитель?»

Я догнал Илью метрах в десяти от кустов, в которых была спрятана МВ.

Сейчас он вырвется, подумал я, сейчас он сделает эти последние шаги к МВ, и я уже не смогу его остановить, и неизвестная книга, объект из Будущего, вещь совершенно невозможная в нашем времени, окажется именно у нас, там, где ей не полагается быть.

Допустить этого я не мог.

Краем глаза я видел человека, появившегося в конце аллеи. Он слишком походил на обиженного Ильей корейца, чтобы я мог рисковать.

Я отталкивал Илью от МВ, я рвал из его рук книгу.

— Выбрось немедленно!

— Но почему? Почему? — пыхтел Илья, изворачиваясь.

— Выбрось книгу. Она принадлежит не тебе.

— А кому? Кому? — пыхтел Илья.

— Выбрось книгу. Она принадлежит твоим внукам.

— А кому они обязаны? — пыхтел Илья. — Кто строил для них Будущее?

— Выбрось книгу, — кричал я, наваливаясь на упрямого писателя. — В этом времени ты не имеешь прав даже на собственное литнаследство!

И стены капсулы бледнели, истончались (мы боролись уже внутри), и зеленая дымка затягивала прекрасное вечернее небо, глуше и глуше доносился до нас праздничный рев толпы, торжествовавшей над эдиком. Рывком я все же вырвал книгу (в кулаке Петрова остался обрывок суперобложки), вышвырнул ее из капсулы, и почти сразу МВ вошла в поле зрения энергетиков, техников, вычислителей, членов специальной Комиссии и, конечно, воспрянувшего Ильи Петрова (новгородского).

## 12

Илья не оправдывался.

Он сидел в конце длинного стола, смотрел на Председателя, и члены специальной Комиссии тоже смотрели на Председателя, будто это он, а не известный писатель, совершил дерзкие и преднамеренные действия, столь противоречащие всем разработанным нами правилам.

— Итак, — сказал наконец Председатель. — Прецедент создан. В наших руках предмет, к нашему времени не имеющий никакого отношения. Это обрывок суперобложки, — показал он. — Не бумага. Какое-то новое вещество. Какое — этим займутся химики и технологи... На внутренней стороне обрывка различима надпись, сделанная обычным грифельным карандашом, — Чо Ен Хо. Видимо, это автограф будущего, может, даже еще не родившегося владельца книги... На внешней стороне портрет автора, к сожалению, далеко не полный. Можно видеть лишь небольшую часть облысевшей или обритой головы... Тут же несколько слов текста. Аннотация или рекламная врезка... Цена обо-

рвана, если она, конечно, была указана, зато сохранился год издания — две тысячи одиннадцатый... Установить автора книги по обрывку портрета не представляется возможным, но сохранившийся текст достаточно информативен... — Председатель негромко, не поднимая головы, процитировал: — «...и теперь эдик стоит над городом как великое и вечное не прости, завещанное нам классиком мировой литературы, прозаиком и эссеистом Ильей Петровым...»

Председатель поднял голову:

— К сожалению... или к счастью... это все.

И не удержался, моргнул изумленно:

— Одно можно утверждать точно: кто-то из наших друзей, я не знаю кто, — он поморгал на обоих писателей, — останется широко известным и в конце будущего века!

И замолчал.

Осознал проблему, порожденную таким оборотом дел. Зато заговорил Илья Петров (новосибирский).

— Эта аннотация, этот ее обрывок... Он действительно информативен... Речь идет о некоем эдике, о литературном герое, столь же нарицательном, сколь и отрицательном... Похоже, и впрямь кто-то из нас, я тоже не знаю — кто, создал такой типаж, что ужаснул наконец окружающих, заставил их обратить свое внимание на эдиков... Вина моя кажется легче, когда я думаю так. Вина моя кажется легче, когда я думаю, что чем-то, но мы помогли людям Будущего. Биомасса Земли, а значит, биомасса Вселенной, взята там под надежную охрану. Они даже научились возрождать погибшие виды!

Новгородец тоже сказал:

— Странен парадокс возможного авторства... Но, смею заметить, не столь уж важно, кто именно из нас написал указанную книгу... В моем варианте эдик не столь монументален... Боюсь, подсказка из Будущего не столь уж и полезна для моей предстоящей работы...

В этом смысле я огорчен результатами нашего эксперимента...

— А соавторство? — быстро спросил Председатель. — Такой вариант исключен?

— Полностью! — вмешался я.

Я не хотел прощать Илью, будь он хоть классиком трех столетий.

— Во-первых, — сказал я, — в аннотации указан один автор, во-вторых, наши друзья не могут работать в соавторстве...

Я уверен, что это так. А случись иначе, герою рукописи не позавидуешь.

В самой первой главе, пиши ее мой друг, Эдик вполне бы мог выменять за пару матрешек и десяток химических карандашей самый большой, самый красивый минарет знаменитой стамбульской мечети Ени Валиде, известной еще под именем новой мечети Султанши-матери, но во второй главе, пиши ее новгородец, Эдик непременно бы раскаялся и все оставшееся до возвращения домой время провел в корабельной библиотеке, занявшись, скажем, проблемой славян на Крите; в третьей главе, пиши ее мой друг, Эдик Пугаев в грозном приступе рецидива получил бы в свои нечистые руки знаменитый и таинственный фестский диск, но тут же бы обменял его на килограмм дешевого белого золота и бочонок вина, которое он, Эдик, в четвертой главе, пиши ее новгородец, без всякого душевного смятения слил бы в лазурные воды Средиземного моря, спасая в себе уже почти погибшего человека...

— Мне тоже не нравятся подсказки, — пыхтел Илья. — Моя рукопись в работе, я собирался закончить ее в этом году, но теперь мне трудно сказать об этом определенно. Слишком грандиозную фигуру следует писать, слишком большая ответственность ложится на исполнителя.

Он спросил сам себя:

— Я смогу ли?..

В зале воцарилась тишина.

Председатель поднял голову. Он больше не улыбался. Волевая синева затопила его глаза.

— Не будем спешить, коллеги, — сказал он. — И не надо думать, что наш эксперимент принес только отрицательные результаты. А праздничная атмосфера Будущего? Разве вы ее не ощутили? А это убедительное торжество над эдиком? А возрождение видов, к гибели которых мы сами имели причастность?.. Доверимся времени. Будем работать. Будем работать еще более тщательно, еще более кропотливо, тем более что с данного момента все маршруты МВ закрываются полностью вплоть до две тысячи одиннадцатого года, когда выйдет в свет... — он поколебался, но все же произнес: — книга Ильи Петрова.

И замолчал.

Сидел, полузакрыв глаза, счастливый, но усталый, весь уйдя в сложные размышления. А мне почему-то казалось: думает он об одном — кто все-таки написал ту книгу?

### 13

Вы вправе задать этот вопрос и мне, хотя я, как и Председатель, не могу на него ответить.

Ответить могут только сами Петровы — результатом своего труда. А времени они не теряют. Мы не видим их новых произведений, но они над ними работают, мы не держим в руках их новых книг, но они над ними думают. Им действительно есть над чем подумать, им есть что искать. Им нужны очень верные, очень емкие слова, такие слова, чтобы даже люди Будущего, вчитавшись, могли их понять, им поверить. А так должно произойти, я это знаю. Я ведь видел праздник возрожденного куличка, дышал счастливым воздухом Будущего.

Итак я уполномочен сообщить следующее.

*Все слухи об отходе от практической литературной*



*деятельности как Ильи Петрова (новосибирского), так и Ильи Петрова (новгородского) основаны на недоразумении. Оба писателя живы и здоровы, оба активно занимаются любимым делом, оба с удовольствием шлют свои наилучшие пожелания всем участникам нашего форума!*

Каждое утро за стеной, в квартире моего друга, гремит будильник, каждое утро за стеной, в квартире моего друга, стучит пишущая машинка. Иногда заходит ко мне сам Петров. Он ходит из угла в угол, проборматывая вслух приходящие в голову фразы, а то вдруг начинает показывать фотографии, полученные из Новгорода. «Смотри! — пыхтит он недовольно. — Я работаю, а этот чертов Илья из Новгорода благополучно лысеет. Если дело и дальше пойдет так, я начну наголо бриться».

Однажды он рассказал мне притчу о лисе и коте.

Хитрая лиса знала тысячи самых разных уловок, простодушный кот только одну: при первой опасности он сразу взбирался на высокое дерево.

Лиса посмеивалась над котом, но когда однажды рядом завывли, зарыдали злобные охотничьи псы, лиса на мгновение растерялась: какой, собственно, воспользоваться уловкой?

А кот, он уже сидел на дереве.

Если считать работу единственной достойной уловкой, то оба Петрова давно сидят на дереве.

Вы возразите: две тысячи одиннадцатый год! Мы хотели бы видеть книги Петровых сейчас!

Но любовь к шедеврам подразумевает терпение.

Человек, заглянувший в Будущее, спешить никогда не будет. Время течет быстрее, чем нам кажется, оно течет медленнее, чем хотелось бы Петровым. Но человек, побывавший в Будущем, действительно теряет право на спешку. Может, он и не подглядел там ответов на свои многочисленные вопросы, но спешить он уже не будет. Это сближает.

**П**  
**Т**  
**е**  
**прыгнута**  
**допюсть**

Мир уцелел потому, что смеялся.

Биофизик Козлов, мой друг, похоже, не понимал народной мудрости. Когда от Козлова ушла третья жена, он вообще забыл о юморе. В своей экспериментальной лаборатории, в этой чудовищной железобетонной чаше, где тщательно имитировались условия панэремии — всеобщей первобытной пустыни, какой могла выглядеть в далеком прошлом поверхность нашей планеты, Козлов работал так прилежно, так всерьез, он так хмуро и строго выжигал там молниями глинистые и горные породы, он там так ожесточенно травил их самыми разнообразными кислотами и окутывал такими умопомрачительными атмосферами, что в мозг мой вкрадывались иногда сомнения: действительно Козлов работает над проблемой самозарождения жизни или его цель — усыпить эту жизнь навсегда?

Впрочем, разрабатываемая Козловым теория абиогенеза выглядела достаточно перспективной — шеф к Козлову благоволил. Мы тоже многое прощали нашему приятелю, в том числе и нелегкий его характер (в это, понятно, не входят его бывшие жены), что же касается честности Козлова, то тут я сам, и категорично, подтверждаю: бык на газоне пасся, телевизор у Козлова не работает и сейчас, а потолок и зеркало в его квартире безнадежно испорчены.

Короче, события той ночи в новосибирском академгородке — не бред и не выдумка.

Они, утверждает Козлов, появились, когда он спал. Правда, в комнате было накурено, крепким сон в такой атмосфере не назовешь, к тому же по глазам ударил свет. Наверное, решил Козлов, кто-то из ребят, забежавших с вечера, задержался, решил переночевать у него, а теперь раздумал и тыкается по углам, разыскивая сумку или берет.

На всякий случай он буркнул:

— Сигареты не забирай. Сигареты оставь.

Никто не ответил.

Тогда Козлов открыл глаза.

Их было двое. Нормальные ребята. Правда, незнатные, но оба в хороших кожаных пиджаках, а Длинный, тот даже при галстукке. Удовлетворенно отдуваясь, он, этот Длинный, что при галстучке, устраивался в единственном деревянном кресле, даже не предполагая, что оно могло в любой момент под ним развалиться. Второй, Коротышка, восхищенно копался в книгах, не уставая радостно восклицать:

— Я же говорил, мы его отыщем!

Длинный кивнул:

— Ухоженное местечко.

Не похоже, чтобы он сознательно льстил. Назвать ухоженным местечком можно и свалку под Бердском, это дело вкуса. Однокомнатная квартирка Козлова чем-то напоминала упомянутую свалку: покосившийся книжный стеллаж, кое-где застекленный (Светкина выдумка), пластинки и фотоальбомы (в основном от Ирки), белье на полу, разметавшееся как волосы Медузы-Горгоны. На пыльном экране давно не работающего телевизора кто-то затейливо расписался, письменный стол завален графиками, невымытыми чашками, разрозненными шахматными фигурами — кучей всякого барахла, никому не нужного, а потому и не бросающегося в глаза.

Ухоженное местечко...

Может, когда-то оно и было таким, но не теперь, когда ушла Сонька.

Если ребята в кожаных пиджачках, подумал Козлов, явились к нему как представители, скажем, некоего Союза женщин, обиженных им, Козловым, то им найдется, что рассказать той же Соньке. Ведь ясно, их появление скорее всего именно Сонькина затея. Не Иркина. И уж, конечно, не Светкина. Светка — тихоня. Уходя, она не оставила ему ничего, кроме смутных воспоминаний о множестве неизлечимых обид. Козлов специально уже несколько лет вел такой дневничок, в котором аккуратно отмечал причину каждой семейной ссоры, причину

каждого семейного разногласия. В этом он оставался настоящим ученым. Записи, знал он, не пропадут. Записи, знал он, принесут пользу обществу. Ведь если правильно проинтерпретировать данные его дневничка, под так называемую семейную жизнь можно будет наконец подвести какую-то твердую и надежную базу. Около семи тысяч мелких и крупных ссор, тысяч пять мелких и крупных размолвок — тут есть над чем подумать социологам. Что бы они там ни утверждали, а ведь семейная жизнь до сих пор остается столь же непостижимой, как, скажем, онтогенез. Можно до мельчайших подробностей проследить сложный путь превращения зачатка оплодотворенной материи до кита или до человека (или, по аналогии, от любви с первого взгляда до развода), суть проблемы от этого не становится ясней, а государство как теряло, так и теряет ежедневно миллионы рабочих часов только из-за того, что особи, его составляющие, страдают из-за горестей неразделенной любви, из-за ядовитых мелочей несложившейся семейной жизни.

Как всегда в трудные минуты жизни, Козлов обратил взор горé — к портрету Академика, несколько косо висящему на стене. Бородка клинышком, ясный взгляд, галстук-бабочка... К сожалению (это Козлова мучило), он только раз удостоился впрямую зрить своего кумира. На торжественном заседании, посвященном восьмидесятилетию заслуженного Академика и пятидесятилетию его знаменитой работы — «Происхождение жизни на Земле (естественным путем)», Академик, сидя в специальном высоком кресле, поставленном рядом с рабочей трибуной, не по возрасту живо реагировал на все доклады и замечания, и Козлов уже тогда страшно переживал от того, что изящным построениям Академика так и не суждено было оформиться в современную физико-химическую модель. Что же касается собственных воззрений Козлова, донести их до Академика он не успел. В тот момент, когда в перерыве заседаний он

протолкался к великому старцу, среди окружавших Академика дам и секретарей пронесся панический шепот: «Где шоколадка Академика?» Козлова сразу оттерли в сторону.

Эти двое, еще сонно подумал Козлов, вряд ли имеют отношение к Академику. Это Сонька их подслала. Может, за утюгом, может, вон за тем живым деревом, кустик которого давно и здорово досаждал Козлову. А что время неурочное, что ему опять не дают спать, что ему вновь рушат рабочий график, так ведь это только подчеркивает Сонькину готовность к любой интриге, если она направлена против бывшего мужа.

— Ухоженное местечко, — повторил Длинный.

— Ты спроси, ты спроси его, — обрадованно заспешил Коротышка. — Ты спроси его, где эти Листки?

— Лимит наших прав исчерпан, — вздохнул Длинный. — Нам придется искать самим.

Похоже, он специально подчеркивал свою объективность. Коротышку это обидело.

— Знаю, знаю! Только у него такой вид, что он ответит на любой вопрос.

Козлов тоже вздохнул.

Дверь он никогда не запирает, но все же третий час ночи... Чего они бубнят? Пусть уходят. Ему не до каких-то там Листков, он хотел бы выспаться, ведь утром, а это уже скоро, ему идти в лабораторию — подготовлена и утверждена новая серия сложных экспериментов. Вот если бы эти двое в кожаных пиджачках могли ему подсказать, почему обычный минерал до определенного момента остается лишь минералом, если бы они могли ему подсказать, каким образом обыкновенный минерал становится вдруг информационной матрицей и как, собственно, происходит эта волшебная, по сути, его перекодировка в белковый код (чего не удалось в свое время решить даже Академику), если бы они могли подсказать, что именно является тут решающим — колебания магнитного поля, тепловой фон, газовый состав атмо-

сферы или еще какое-то невероятно или, напротив, весьма вероятное стечение обстоятельств, пробуждающих скрытую в материи жизнь, вот тогда бы он с удовольствием встал, вот тогда бы он сварил крепкий кофе, и, забыв о Соньке или кто там еще мог их подослать, они неплохо бы поболтали. Хоть до утра. На это ему, в сущности, наплевать.

А Коротышка вдруг решил поиграть в самостоятельность. Оставив книги, он резко повернулся к Козлову и протянул руку:

— Листики!

Он сделал это так решительно, что Козлов испугался.

Его семейный дневничок, который он, понятно, вел тайне ото всех, можно было назвать и Листками, он сам пару раз так и определял его, но ведь о дневничке никто не знал — ни Сонька, ни Ирка, ни Светка! Вот почему Козлов прикрыл глаза и опять притворился спящим.

— Оставь его! — Длинный в этой компании явно был каким-то начальником. — Лимит наших прав исчерпан. Надо искать самим.

Он с сомнением обвел взглядом захламленную квартиру, а Коротышка вернулся к книгам и к пластинкам, затейливо их просматривая, затейливо меняя их месторасположение.

После такого досмотра, подумал Козлов, вообще не будешь знать, где что лежит.

Он не одобрял действий Коротышки и Длинного, к тому же его неприятно поразила мысль, что рано или поздно они доберутся и до разбросанного на полу белья.

Несколько минут Козлов якобы провел в раздумье (я передаю его собственные слова). Дневничок лежал под подушкой, до него они доберутся не скоро. Забрали бы лучше кустик живого дерева и топали! Кустик этот, взращенный Сонькой, вечно действовал ему на нервы. Кустик никак не мог примириться с тем, что после ухода Соньки его постоянно забывают поливать и вы-

носить на свет. Стоило Козлову уйти на работу, как кустик, корчась, сам собой выдергивался из глиняного горшка, закрепленного на стене, и, цепляясь колючими корешками за обои, начинал медлительный путь к растворенной настежь форточке. Он и сейчас, уверенный, что Козлов спит, висел на стене. С его печальных корешков осыпались на пол мелкие крошки пересошей земли.

В сущности, Козлов всю жизнь занимался беспорядком, ибо что может быть беспорядочнее нашей планеты в первые эпохи ее существования? И заниматься этим было ему вовсе не так уж и легко, ведь далеко не все его коллеги поддерживали достаточно дерзкую гипотезу перекодировки геохимической информации через минералы в белковый код, даже шеф Козлова лишь соглашался рассматривать саму жизнь как некое латентное, скрытое, внешне мало проявляющееся свойство материи, пробудить которое, может быть, и можно имеющимися под рукой человека средствами, но...

Сейчас, ночью, Козлову было особенно обидно.

Ведь не уйди от него Сонька к этому бритому красавцу химику, беспорядка на планете было бы меньше, он, Козлов, не рылся бы по утрам в развалах собственных вещей, отыскивая кофе или чайные ложки, и уж по ночам его не будили бы незнакомцы, требующие с него Листки.

Эти двое ему мешали.

Тем более что при ближайшем рассмотрении ему страшно не понравились глаза Коротышки. Близко поставленные, навывкате, они все время смотрели немножко не туда, куда следует смотреть человеку, если он листает книгу. И оба они, и Длинный, и Коротышка, время от времени подрагивали, как, бывает, подрагивает изображение на экране работающего телевизора.

— Ну, спроси его! — торопил Коротышка. — Я чувствую, он скажет. Ведь если не успеем мы, придет и Ква и Листки уплывут!



— Ищи, ищи, — оборвал его Длинный. — Если мы не найдем Листки, нКва должен искать их подольше. Коротышка кивнул без особого вдохновения. Видимо, первая радость его несколько пригасла.

Это почему-то взбодрило Козлова.

Он наконец привстал. Он даже натянул на плечи застиранный халат. Он якобы даже прикрикнул на Коротышку, небрежно уронившего на пол книгу.

— Видишь, — укорил Длинного Коротышка. — Он заговорил. Он сам заговорил. Спроси его, где Листки?

Длинный покачал головой.

Еще бы, не без злорадства подумал Козлов. Сами ведь говорили, что лимит ваших прав исчерпан.

Он, конечно, не знал, что это за права, но само знание действовало на него ободряюще.

Коротышка задел портрет Академика, и Козлов совсем осмелел.

— Ты даже не знаешь, кто это, — заметил он, все еще думая, что их прислала Сонька.

— Знаю, знаю. Тот, кто не перепрыгнул пропасть! Козлов опешил.

Он не ожидал от Коротышки такой прыти, ответ Коротышки ему не понравился.

— Не перепрыгнул, не перепрыгнул! — поддразнил его Коротышка.

Козлова его слова сильно задели. Он уточнил, о чем, собственно, идет речь?

Речь, как это ни странно, шла о проблеме происхождения жизни (естественным путем), которой занимался Академик.

Тут между Козловым и Коротышкой вышел спор.

Козлов, полный обиды за Академика и стыда за свою минутную слабость, упирал на то, что Коротышке и его приятелю давно пора уходить, а ему, Козлову, собираться на работу. Козлов якобы нисколько не скрывал своего раздражения, а они, упорно подрагивая, все так же

упорно рылись в его вещах, пока наконец он впрямую не потребовал очистить помещение.

— Если мы его очистим, с чем ты останешься? — Коротышка явно был буквалистом.

— Я сказал: очистить. Это означает: уйти, убраться, смыться. Чтобы духу вашего здесь не было.

— Смоемся мы, — предупредил Коротышка, — явится нКва.

— Пусть является, — Козлов осмотрелся и вытащил из-под дивана уют. — Не знаю, кто он, этот ваш нКва, но хорошо ему тут не будет.

— Ты здорово пожалеешь, — прошипел Коротышка, дергаясь и подпрыгивая, как мотыль.

Им явно не хотелось уходить, но, похоже, лимит их прав и впрямь был исчерпан. Подергавшись, попрерпиравшись с Козловым, они все же исчезли, и, оставшись один, он сварил кофе, совершенно не понимая, что это были за люди и с чего вдруг им так понадобился его тайный дневничок. Он даже хотел позвонить Соньке и напомнить ей, что она дура, но вовремя вспомнил, что трубку скорее всего возьмет этот ее новый красавчик муж — химик. Тогда, не без злорадства внеся в дневничок еще одно огорчение, доставленное ему бывшей, но все же женой, Козлов решил поработать.

Но ему почему-то не работалось, он мог только ругаться.

— Хмыри! — ругался он. — Пиджачки кожаные! Где, — ругался он, — предел человеческого падения?

— Я сам этому поражаюсь, парень!

— Явиться и разбудить! Рыться в книгах! Ничтожества!

— Самые настоящие, парень!

— А ты кто такой? — удивился Козлов, раздраженно водворяя в горшок с землей сбежавшее из горшка живое дерево.

В полуразвалившемся кресле сидел неведомо откуда взявшийся бодрячок, крепкий, опрятный, хорошо выбри-

тый, но тоже время от времени подрагивающий, как изображение на экране.

— Ты ведь один? — в свою очередь, поинтересовался бодрячок. — Ты ведь совсем один? Ты ведь не врешь, парень?

— Я никогда не вру, — зачем-то преувеличил Козлов.

— Тогда мы здорово поболтаем.

— О Листках? — неприятно догадался Козлов.

— О них! О них! Занятная штучка, не каждый до такого додумается! — Бодрячок уверенно потер крохотные ручки. — Поздравляю, парень, я тебя нашел!

Наверное, Ян Сваммердам, сын голландского аптекаря и большой любитель живой природы, не менее лицемерно поздравлял своих несчастных подопытных с тем, что они попали именно под его ланцет. Он, дескать, не просто продлит им жизнь, этим амебам! Он, дескать, омолодит их!

Похоже, это нКва, подумал Козлов.

И не ошибся.

При всей своей непосредственности нКва оказался существом страшно дотошным. А слово «парень» он употреблял так часто и с таким упоением, что можно было подумать, оно ему не сразу далось. Козлов якобы сразу сказал ему, что ни о каких Листках и речи идти не может. Он, Козлов, устал, он хочет выспаться. Так что, якобы сказал он, делать тебе тут нечего. Короче, проваливай!

— А Листки?

Козлов взбеленился.

Глядя на бодрячка, он сказал, что видит его в первый раз, и поскольку времени уже много, он, Козлов, пойдет сейчас прямо в лабораторию, так что дверь квартиры придется прикрыть, он даже жестом показал, как это делается. Так что, сказал он, ты иди своей дорогой, а я пойду своей.

— Не похоже, что ты бегаешь стометровку за восемь секунд, — лукаво подмигнул нКва.

— Я не бегун. Зачем мне это?

— А глянь в окно! Глянь! — бодрячок потер ручки. — Уверен, мы с тобой сговоримся.

Исключительно из презрения Козлов выглянул в окно.

Внизу, под девятиэтажкой, на темном, слабо освещенном газоне пасся свирепого вида бык. Это в центре то академгородка, в ста шагах от Новосибирского университета!

Будто почувствовав взгляд Козлова, бык вскинул рогающую голову и мощно копнул землю копытом.

Бодрячок горделиво всхрапнул:

— Он там ради тебя, парень! А стометровку он бежит за семь секунд. Сразу и не подумаешь, правда?

Бык выглядел грузноватым, но что-то подсказало Козлову, что бодрячок нКва, пожалуй, прав и выходить из дому не следует. Может, утром... Когда рассветет... Когда появятся дворники...

Но сдаваться Козлов не хотел.

Не придумав ничего более умного, он позвонил мне. Даже не извинившись, буркнул: вот, дескать, ночь, а он, может, утром задержится, ты, мол, там подскажи шефу...

Я спросил: а почему ты сам ему не позвонишь? Прямо сейчас.

Козлов буркнул: рано, наверное.

Не дослушав его, я повесил трубку.

О дальнейших событиях Козлов рассказывает не совсем внятно. Дескать, этот нКва оказался человеком достаточно добродушным, но настойчивым. Он вроде бы сразу дал понять Козлову, что без его Листков не уйдет. И сам Козлов тоже никуда не уйдет, пока не отдаст ему Листки. У быка, дескать, есть и время, есть и трава под ногами, и у него, у нКва, как раз есть сво-

бодное время. Так что, добродушно намекнул он, лучше сдать Листки добровольно.

Последняя фраза очень напомнила Козлову Соньку, умевшую к любому, даже к самому неприятному для него решению, подвести мужа именно добровольно.

Впрочем, Козлов проявил волю.

Он якобы даже усмехнулся. Чем это мы, интересно, займемся?

— А телевизор! — обрадовался нКва. — Случаются редкостные передачи!

Козлов внимательно взглянул на бодрячка. Ирка, скажем, была мастерица на розыгрыши. Из чистого альтруизма, помня, что телевизор у Козлова сгорел, она могла подослать ему техника по отладке...

Ночью?!

И такого бодрого?!

А нКва, или как там его звали, щелкнул крошечными пальчиками, и мутный экран вдруг осветился.

Телевизор сгорел давно (я могу это подтвердить), но сейчас его экран осветился, полетели по нему хлопья снега, поползли светлые полосы, а потом Козлов в оторопи раскрыл рот. Он увидел изнутри, из роя, чудовищный рой самых обыкновенных мух, взбешенно сияющих выпуклыми фасеточными глазами. Через какое-то время от расслышал и слова. Глумливые, торжествующие слова.

— Мы покорители всех времен, — расслышал он глумливые и торжествующие слова. — Мы основание пирамид, жители всей Вселенной!

Колумб, открывая Америку, смотрит в подозрную трубу, а видит наши презрительные глаза!

Вы наслаждаетесь алой розой, вы вдыхаете ее аромат, а мы уже высосали ее живительные соки!

В какое брезгливое и беспомощное негодование приходите вы, когда одна из нас, забавляясь, купается в чашке вашего парного молока!

Орел бьет зайца, вороны расклеивают труп, а мы

находим себе пропитание, не ударив лапкой о лапку!

Наслаждаться! Перемалывать пищу! Размножаться! Шуметь! Неужели надо о чем-то тревожиться? Ваше серебряное зеркало — наше отхожее место. Смотрите в него, ищите себя, любуйтесь собою. Мы умываем руки.

Мы проникли в ваше сознание, в ваш мозг, в ваш язык! Какая девушка не мечтает выйти за Мух? За Мухрышка — изумительное существо! Прекрасно находиться под Мухой и с куМушкой!

Каждый день приносит нам такое количество трупов, какое не снилось Калигуле. Завалим трупами Землю! Двинемся вдаль! В другие, совсем в другие миры!

Масса корррМушек!

Слышите? Это наши гибриды гудят в небе! Крылатая смерть с пучком молний в зубах! Кто против нас? На каждом карабине Мушка!

И, будто подтверждая весь этот чудовищный бред, ударил над ночной девятиэтажкой гром перешедшего звуковой барьер самолета.

Козлов опять позвонил мне.

Он был потрясен.

Он попросил меня включить телевизор.

К сожалению, просьба мне не понравилась. Какой телевизор? Все спят! Я сказал ему: исправь свой! — и повесил трубку. Потом я сказал ему: пора спать, кретин! — и снова повесил трубку. Потом я сказал: шефу, не мне звони! — и окончательно повесил трубку.

Сейчас-то я понимаю — поспешил. Но хорошие мысли настигают нас с запозданием.

— Ну как? — спросил бодрячок.

Было видно, что ему хочется похвалы. Он даже не мешал Козлову пользоваться телефоном.

— Дельная передатка! — хохотнул он от души. — Да ты мне и сам нравишься, парень! Впрочем, — спохватился он, — ты или я, какая разница? Все мы — еди-

ный организм Вселенной. С этой точки зрения у тебя нет никаких причин расстраиваться. Попробуй сосредоточиться на мысли, что эти твои Листки — они наши! Если мы все — единый организм Вселенной, — доверительно сообщил он, — то какая разница, у тебя они будут храниться, эти Листки, или у меня? А начнешь хитрить, — добродушно добавил он, — мы тебе что-нибудь привинтим. Ты же крепыш. Мы тебе привинтим что-нибудь такое, что непросто будет отвинтить. Ты ведь серьезный парень. Я на тебя гляжу и даже боюсь, какой ты серьезный. А серьезные существа, парень, они и изобретают всегда что-нибудь серьезное. Берутся, скажем, за проблему происхождения жизни (естественным путем), а приходят к мысли, что проблема как раз в обратном. Веселые парни наводят мосты, а серьезные их разводят. Мы с тобой серьезные парни, нам надо дружить. Ты пойми, эти Листки — они не твое достояние, они принадлежат вовсе не тебе.

— А кому же?

— А кому принадлежит Вселенная? — ловко парировал нКва, и Козлов почему-то вспомнил о мухах.

Его передернуло. Бодрячка это вдохновило:

— Видишь, как мы легко понимаем друг друга! А ведь явись вместо меня Квенгго, есть там у нас такой, он бы не стал с тобой спорить. Он молчун. Он перенес бы тебя вместе с квартирой к квазипаукам Тарса. Эти квазипауки не жрут целлюлозу, — нКва радостно заржал. — Мы получили бы Листки в полной сохранности! Но мне по душе серьезные парни, нечего на них нападать. Без серьезных парней прогресс цивилизаций течет слишком вяло. Сам знаешь, — лукаво подмигнул он, — раз организмы должны принимать пищу, безусловно разумен и экономичен такой порядок, при котором сама пища известное время является живой и даже разумной и, соответственно, пользуется всеми благами существования. Так ведь?

Козлов вынужден был кивнуть.

— У тебя тут кое-кто уже побывал, и ты не стал с ними разговаривать, так ведь?

Козлов снова кивнул.

— Но они утверждали, что Листки им очень нужны?

Козлов снова кивнул.

— Лгут! — добродушно хохотнул нКва, но свет в квартире вдруг погас, а когда лампа под потолком вспыхнула, в бельеовом шкафу, нервно подрагивая, снова копались те двое в кожаных пиджаках. Коротышка, опасливо поглядывая на кресло, в котором только что восседал нКва, спросил Козлова:

— Там, за окном, это твое животное?

Козлов сумрачно пожал плечами. Он не знал, принадлежит ли ему бык.

— Его, его животное! — поторопил Коротышку Длинный. И предупредил Козлова: — Этот нКва любит поболтать, язык у него хорошо подвешен. Ты ему не верь.

— То же самое он говорил про вас.

Коротышка презрительно фыркнул:

— Типичный деструктор!

Наверное, он имел в виду бодрячка нКва, потому что кивнул Длинному:

— Ты объясни, объясни ему. Видишь же, человек растерян.

Длинный кивнул, и экран неработающего телевизора снова осветился. Впрочем, свет тут же расплзся, как вата, облитая кислотой, и экран затопила густая тьма.

Полная тьма.

Черная.

Потом понеслись по экрану незнакомые и в незнакомых сочетаниях созвездия, медленно поднялась из самых глубин непрерываемой космической тьмы крошечная планетка, очень напомнившая Козлову снимки Земли, сделанные с высоких орбит, — вся голубая, вся в океанах и в материках. Козлов зачарованно всмат-



ривался в голубую планетку. Он хотел коснуться, понять чужую тайну, потому что сразу осознал: это чужая планетка, и с планеткой этой связана какая-то тайна.

— Она населена?

— Была населена, — хмыкнул Коротышка.

— Почему была? Там что-нибудь такое изобрели?

— Верно мыслишь.

И Козлов увидел: материки прогнулись, как от удара, молниями прошли по ним чудовищные трещины, океаны выплеснулись на раскалывающиеся берега. Голубая планетка разбухла, обволоклась розовой пылью и страшно лопнула. Лишь серебристая комета несла пышный хвост по черноте экрана.

— Почему вы не дали звук?

— Звука не было.

— Но я же видел взрыв. Я же видел, она взорвалась, эта планетка!

— Взрыв был бесшумный.

— Бесшумный?!

— Вот именно... В свое время мы не успели обойти нКва, и он припрятал Листки одного сумасшедшего гения... Последствия налицо. Они впечатляют, правда?

Козлов поежился.

Ему неприятно было узнать, что где-то существуют такие сильные, да еще и бесшумные взрывчатые вещества. Еще неприятнее ему было думать, что эти ребята подозревают его в чем-то таком же.

— В моем дневничке, который вы называете Листками, нет ничего подобного, — хмуро заверил он. — Это чисто личные записи.

— Этот с планетки... Он считал, что всего лишь изобрел нечто для чистки жвал и ухода за псевдоподиями.

— При чем тут мой дневничок?

Коротышка и Длинный демонстративно отвернулись.

Пересказывая события той ночи, Козлов утверждает, что именно после того, как он воочию увидел гибель го-

лубой планетки, он впервые вдруг ощутил неуют своей захлавленной квартирке, свое одиночество, увидел пятна на обоях, которые давно надо было переклеить, немытую посуду на столе. Он впервые вдруг ощутил, что кустик живого дерева тоже страдает, что он бежит к форточке вовсе не из тупого упрямства, а все из того же неувыдающего желания еще раз увидеть Солнце. Он впервые вдруг осознал, почему так сердились его бывшие жены, когда он возвращался домой в неурочный час и сбрасывал одежду совсем не там, где это полагается делать. Еще сильнее уколола его мысль, что в его дневничке впрямь могут таиться не совсем добрые знания и что, пожалуй, ему надо бы почаще говорить с друзьями не только о конкретном, связывающем их деле, но и вообще о чем-то широком, всеобъемлющем...

Впрочем, тут рассказ Козлова несколько сбивчив. Сильно загрустив, он, похоже, все же не утерял прагматической жилки, поскольку решил попросить ребят в кожаных пиджачках убрать из-под окна неприятного ему быка.

— Что ты! — разочаровал его Коротышка. — Бык не наш. Проси об этом нКва, только, боюсь, он не согласится.

— Как же я буду выходить из дому?

Коротышка пожал плечами:

— Лет через пять бык распадется сам.

Это была горькая пилюля, но Козлов ее проглотил.

Выпроводив гостей (лимит их прав и впрямь был исчерпан), он горестно сварил кофе.

Он редко заглядывал в зеркало, но сейчас, проходя мимо, заглянул почему-то в его тусклый омут. То, что он там увидел, его совсем удручило.

Типичный деструктор...

Этот нКва был прав. Продуценты, веселые ребята, они наводят мосты, они создают органику, а деструкторы, ребята хмурые и серьезные, они только разрушают органику. Тот факт, что, не существуя на свете де-

структоров, биомасса давно переполнила бы всю Вселенную, как та пресловутая каша из волшебного горшка, почему-то Козлова не утешил.

Ему было так тоскливо и больно, что подсадной Гриб его, в общем, и не удивил.

Живое дерево, воспользовавшись подавленным состоянием Козлова, опять покинуло положенное ему место, зато на его месте укромно разместился прелестный гриб-крепыш защитного цвета.

Весь еще в меланхолии, Козлов потянулся к валяющемуся на полу определителю.

— Не теряй время, — грубовато посоветовал Гриб. И представился:

— Болетус аппендикулатус.

Непонятно, как он умудрялся выговаривать слова, но это у него получалось неплохо.

К тому же он не лгал.

Болетус аппендикулатус. Крепыш. Красавец. Такие смотрятся на любом столе. Ирка, например, такие вещи ценила. Определитель, кстати, от нее и остался.

— Тебе-то что надо? — жалобно спросил Козлов.

— Листики.

— Вы что там, все психи?

— Все или нет, не знаю, — грубовато заметил Гриб. — Но кашу заварил ты.

— Не хами, — одернул его Козлов. — Будешь хамить, сделаю из тебя завтрак.

— Я под напряжением, — предупредил Гриб.

— Ничего. Заземлим.

Гриб не ответил.

С его крепкой шляпки одна за другой снялись три плавных шаровых молнии, каждая величиной с кулак. Одна полностью ободрала амальгаму с настенного зеркала, вторая прошла в опасной близости от головы Козлова (он почувствовал, как трещат и дыбом встают волосы), третья Гриб медленно, с достоинством, обратно втянул в себя.

Они помолчали.

— Ты откуда? — нарушил молчание Козлов. Он придумывал, как ему перепрятать свой злосчастный дневничок, и никак не мог на это решиться.

— С Харона.

Гриб несколько даже бравировал широтой своей души.

Как понял Козлов, мир Большого Разума начинается со шлюзовой камеры на планете Харон, витающей за орбитой Плутона, и уходит куда-то в бесконечность Вселенной. Сотрудники Контрольной базы Харона (к ним, видимо, относился Гриб и ребята в кожаных пиджачках) обычно не сидят без дела. То тут, то там смысленные и серьезные ребята из различных миров изобретают, иногда сами того не понимая, то бесшумную взрывчатку, то кое-что пострашнее. Один тип, например, пользуясь изобретенной им подпространственной Машиной времени, вывозил из далекого прошлого Земли различные экзотические организмы. Исчерпал массу самых необыкновенных видов, пока ребята в кожаных пиджачках не перехватили его Машину где-то на исходе последнего ледникового периода. Вообще, заметил Гриб, мы делаем на Хароне много хорошего. Земляне, к сожалению, уже подозревают о существовании этой небольшой холодной планеты. Некто У. Бензел из Техасского университета, того, что в Остене, и Д. Толен из известной Гавайской обсерватории зафиксировали недавно периодическое изменение блеска Плутона, так что, похоже, местоположение базы скоро придется менять.

— У нас что? — вдруг дошло до Козлова. — Контакт?

Гриб поперхнулся от возмущения.

— Разум ищет не слабых, — пояснил он. — Разум ищет не сильных. Разум стремится к равным, способным его понять. Если дело дойдет до Контакта, Контакт будет всеобщим. Если мы решимся на Контакт с

вами, мы вступим в Контакт сразу со всеми обитателями Земли — с учеными и с художниками, с политиками и с террористами, с младенцами и со стариками...

— Почему сразу со всеми?

— То есть как почему? Вступи я с тобой в Контакт, завтра тебя, глядишь, упекут в психушку или выгонят с работы. Вступи я в Контакт с политиком, он обязательно постарается использовать меня в своих, боюсь, неблагоприятных целях. А ученый, как отдельная особь, может просто не поверить мне... Вот ты в меня веришь?

Они помолчали.

Получалось, Гриб не зря интересовался Листками.

Для землян они, в общем, пока не представляют особой опасности, но если такие типы, как нКва, вывезут Листки в область неустойчивых миров, последствия окажутся более чем катастрофические. Лучше всего, предложил Гриб, отдать Листки ему. Он знает в глубоком Космосе один невзрачный коричневый карлик, внешне, конечно, невзрачный, там Листки будут лежать надежно, как в сейфе. В принципе он может саму квартиру Козлова превратить в такой сейф. Небольшое вмешательство, ни для кого не заметное, и все как бы вычеркнут из своей памяти некоего Козлова, научного сотрудника. Даже жены вычеркнут, жестоко подчеркнул Гриб.

— Неужели ты способен на такое?

Гриб смущенно хмыкнул.

— К тому же, — в неожиданном приступе патриотизма выкрикнул Козлов, — я сын своей страны! Откуда мне знать истинные твои намерения? Может, мой дневничок, Листки, как ты его называешь, вот так вот нужен моей стране?

Гриб не сплеховал:

— А я отец своей страны!

И предложил:

— Хочешь, называй меня так.

В какой-то момент Козлову подумалось, что Гриб

издевается над ним, что Гриб специально его провоцирует. Вот полезет Козлов с ножом резать его корненожку, Гриб и шваркнет его шаровой молнией. Доказывай потом, что к чему, ведь электропроводка в квартире совсем запущена.

— Ты не придурок, — зашел Гриб с другой стороны. — В твоих экспериментах, которые ты ведешь в лаборатории, есть глубокий смысл. Если ты сумеешь получить живое вещество из неорганики, я первый принесу тебе поздравления. Так зачем тебе, разумному существу, занятому проблемой происхождения жизни, эти Листки? Они же унижают разум, они держат тебя на одном месте, не дают возможности плыть вперед. Отдай Листки мне, и ты здорово продвинешься в своих поисках и прозрениях. Ведь ищешь ты правильно. И роль глины в сложном процессе образования живого ты определил правильно. Благодаря энергии, высвобождавшейся в ходе радиоактивного распада, именно глины могли стать той химической фабрикой, что впервые начала производить неорганическое сырье, необходимое для формирования более сложных молекул...

— Ты пересказываешь мою идею, — обиделся Козлов.

— Что твое, то твое, — грубовато согласился Гриб, — но никогда не мешает приобрести еще что-нибудь.

Он так и лез ему в душу.

— Ты же бродишь рядом с Открытием, — намекал он. — Рядом с эпохальным Открытием. Если бы не Листки, отнимающие у тебя большую часть энергии, ты бы сейчас уже занимался самим Открытием, а не всякими там второстепенными штуками, возникающими как побочный эффект. Ну, решайся! Ты же из тех людей, что могут перепрыгнуть пропасть.

Козлов совсем расстроился.

Он смотрел на портрет Академика, и в нем боро-

лись очень сильные чувства. Чувство любознательности и чувство порядочности.

Отдать Листки?.. Но как он будет смешон, если историю с говорящим Грибом, бодрячком нКва и ребятами в кожаных поджачках подстроила интриганка Сонька!..

Не отдать?.. А вдруг в его дневничке, так упорно именуемом Листками, впрямь прячется нечто, пусть не для нас, но катастрофическое? Ведь думал же тот тип, бесшумной взрывчаткой которого взорвали целую планету, что он изобрел всего лишь порошок для чистки жвал и для ухода за своими псевдоподиями...

Прельщала его и мысль о более тесном деловом контакте с Грибом, может, даже о постоянном сотрудничестве...

В этом месте рассказ Козлова снова невнятен.

Якобы здорово действовал на него бык. Ведь вряд ли он, Козлов, мог надеяться на то, что в ближайший год научится бегать стометровку за шесть секунд... Да и шеф... Разве он не хватится своего ведущего сотрудника?..

— Мне трудно решить все сразу, — хмуро заметил он Грибу. — Мне следует все хорошо обдумать.

— Конечно! — обрадовался Гриб. — Ты думай. Ты не волнуйся. Я подожду. У меня есть свободное время. Но Козлов уже утвердился в решении.

А мне он позвонил якобы лишь затем, чтобы услышать в ночи знакомый человеческий голос.

Было это часов в пять утра.

— Подойди к окну, — попросил Козлов. — Ну, к тому, что выходит на газон. Ты что-нибудь видишь?

Я решил, что Козлов подослал ко мне приятеля, такого же зануду, как он сам, за бутылкой кефира, которого им в эту ночь не хватило, и босиком, старый радикулитчик, проклиная Козлова и всех его предполагаемых приятелей, пошлепал к окну.

— Ничего там нет... — сказал я. — Нет, погоди,

что-то там такое шевелится... Похоже, сохатый... Нет, не сохатый... Это бык! — понял я. — Очень приличный экземпляр, я таких давно не видывал. Наверное, сбежал из какого-нибудь опытного хозяйства.

Козлов усмехнулся.

Он, видите ли, позвонил мне совсем по другому поводу. Ему, Козлову, видите ли, захотелось поболтать со мной о всяких там известных физических постоянных. Он, Козлов, видите ли, готов допустить, что, кроме скорости света, заряда и массы электрона, массы атома водорода, кроме общеизвестных постоянных плотности излучения, постоянных гравитационной и газовой, кроме там, занудливо перечислял он, постоянных Планка и Больцмана, в Большом Космосе вполне могут действовать еще какие-то, наверняка неизвестные нам силы.

— О некоторых из них я догадываюсь, — хмыкнул я. — Ты звонишь мне с завидным постоянством. И всегда ночью.

— Да нет, — заторопился Козлов. — Я действительно думаю, что мы постоянно упускаем что-то в наших расчетах. А нечто великое, нечто неизвестное, оно уже в нас, мы им давно пользуемся, правда, не отдавая в том отчета. Или не пользуемся... Ты понимаешь, о чем я?

— Нисколько не понимаю, — ответил я, зевнув, и переступил с одной босой ноги на другую.

— Ну как же, — огорчился Козлов. — Разве ты не замечал смешного в природе? Вдруг собака прыгнет не так, вдруг птица не по-птичьи встопорщит перья, вдруг тигр усмехнется как человек. А то, что мы называем неживой природой? Складка горы, смешная до безобразия, неожиданное падение камня, когда это падение ничему не угрожает, а забавные силуэты скал?.. Знаешь, — сказал он доверительно, — я готов допустить, что вся Вселенная пронизана особой волной, не зафиксированной пока нашими приборами, поскольку таких приборов пока попросту не существует.



— Что же это за волна? — спросил я, почесывая ногу о ногу.

— Я бы назвал ее Ю-волной. Я нисколько не претендую на приоритет открывателя, Ю-волна известна с древнейших времен, с окаменевшей улыбки трилобита, с веселой изогнутости рельефа, веселость которой никто не видел и никто не мог оценить. Более того, я готов согласиться с тем, что Ю-волна — это одна из самых древних реликтовых волн и возникает она в самые первые секунды возникновения Вселенной, в самые первые секунды Большого Взрыва. Я не знаю, зачем природе нужна эта волна, волна вселенского юмора, но, может, именно она будит те скрытые, неявные свойства материи, что впоследствии мы называем жизнью.

— Ага, — сказал я.

А бык вдруг исчез.

— Ну, чего ты молчишь? — спросил Козлов на том конце провода.

— Бык исчез.

Козлов помолчал.

А потом без предупреждения повесил трубку.

Сам!

Он, Козлов, сжег Листки.

Он сделал это, сидя на старом диване, под живым деревом, висящим на обоях, прямо под возмущенным Грибом.

Гриб якобы здорово возмущался. Он шумел, пыхтел, булькал, пускал шаровые молнии, которые летали по всем углам и здорово подпортили потолок квартиры.

Он, Козлов, сжег Листки.

Иногда я думаю, что, наверное, он был прав.

Иногда я представляю себе Землю, совсем молодую, только что сформировавшуюся, буйную, как все молодое. Вижу угрюмые горные хребты, сумасшедшие ревущие вулканы, дикуую лаву, раскаленными потоками

низвергающуюся в первобытные кислые водоемы. Чудовищная мертвая тьма, пронизанная чудовищными пульсирующими молниями. Тут и минерал хохотнет от жутости. А может быть, этого и достаточно, чтобы породить первые нити полипептидов и полинуклеотидов, — породить живое!

Идея, понятно, безумная, но, согласитесь, не лишена изящества. А то, что бык был, копал копытом газон, а телевизор Козлова и сейчас не работает, а потолок квартиры обожжен высоковольтными разрядами, а странный тот гимн мух действительно существует (в переложении томского поэта М. Орлова), я всегда готов подтвердить.

Но главное, сам Козлов.

«Вчера в мой аквариум заплывла крошечная неопознанная субмарина!»

Ржать Козлов, конечно, начинает первым и часто рассказывает истории, подобные той, что изложена выше. Он знает много таких историй и клянется в их точности не чем-нибудь, а именем Академика. Несколько раз я встречал Козлова в обществе Ирины, его бывшей второй жены, женщины веселой и непосредственной, оставившей Козлова именно по причине его величайшей серьезности. Памятуя собственный вывод Козлова о том, что каждая последующая жена всегда несколько хуже предыдущей, я полагаю, что в будущем Козлов уже не совершит прежних ошибок. А увидев чье-либо хмурое лицо, Козлов никогда не преминет мне шепнуть: «Слыши!.. Ты все-таки присмотрись!.. У этого твоего нового сотрудника лицо что-то очень уж хмурое... Серьезный, похоже, парень... А ты ведь знаешь, на что они способны, эти чересчур серьезные парни!..» Даже на дверь своего кабинета он приспособил вместо звонка забавного хохотунчика. Дернешь шнурок и не можешь не рассмеяться.

Уж не знаю, что там и как, но я верю: Козлов, он перепрыгнет пропасть.

# И Г. рушки детство

Все в природе связано и взаимосвязано.

Это один академик сказал.

Сергея Жуков (плотник и столяр, двадцать один год, образование среднее, рост — сто восемьдесят; особые приметы — по иностранному языку не аттестован) сам о чем-то таком догадывался, только не мог правильно сформулировать. Он, например, думать никогда не думал о писательстве, а вот вмешался в это нелегкое дело и чуть не загубил жизнь одного вполне настоящего писателя. А еще, например, он как-то не особенно относился к детским игрушкам, а ему и с ними (в двадцать-то один год!) пришлось столкнуться.

Так что связано. И взаимосвязано. Ничего такого Сергей бы не стал отрицать.

Как-то получил книжку по почте.

«Плотничные работы».

Ему давно хотелось узнать, что в своем главном деле он делает не так. Он точно делал что-то не так, потому что бригадир, глядя, скажем, как Сергей вяжет раму или ставит косяк, иногда сплевывал и шел помогать. Не мастер-де. Но Сергей это и сам знал, только считал: не лезь бригадир под руку, он, Сергей Жуков, допер бы до дела сам.

Рама кривая? Ничего, зато надежная, выстоит и в снег, и в ветер. Косяк не подходит? Ничего, он покрутится, своего добьется, встанет на место...

Бригадир все равно сплевывал, лез помогать, вот Сергей и написал в Новосибирск Галке Мальцевой: пришли, дескать, что-нибудь про плотничные и столярные работы. Бригадир больно психует, а мастерство надо повышать.

Галка Мальцева была грамотная и красивая девушка, на таких заглядываются еще в школе. Школу она,

кстати, заканчивала вместе с Серегой, но, в отличие от него, аттестована была по всем предметам, потому и шла в гору: в крупном городе работала в молодежной газете. Серегу, правда, не аттестовали не по его вине. Начинал он с немецкого. Предполагалось, наверное, что таловские ребята после окончания школы должны свободно объясняться на этом достаточно распространенном языке, но Сереге не повезло: на второй год обучения, когда он уже знал, что солнце — это ди зонне, а девочка — мётхен, отца перевели в соседнее село, где главным языком считался французский, поскольку никаких других преподавателей в школе просто не было. Серега не расстраивался. Он всегда был упорный. Он стал упорно овладевать французским. Он узнал, что маленькая женщина — это петит фема, а петит, кстати, это еще и такой мелкий типографский шрифт. Предполагалось, наверное, что в будущем Серега и его счастливые сверстники смогут свободно сравнивать одно-классниц с мелким типографским шрифтом, но тут отца снова перевели в Таловку, где основным языком за это время стал английский. Серега не жалел. Он все равно не мог бы назвать маленькой женщиной ту же Соньку Жихареву: ростом она не уступала Сереге и однажды на спор вскинула на спину мешок с зерном. Так что в Таловке пришлось заняться английским, а в итоге в графе «иностранный язык» в Серегиним аттестате остался прочерк. Зная одновременно многие немецкие, французские и английские слова, Серега не овладел настоящим правилами. Галка Мальцева утешала: да ничего! Если быть упорным, многого можно добиться, владея только одним своим родным языком. И когда Галка по настоянию родителей уехала в Новосибирск, он сильно жалел. Он, конечно, не мешал Галке, пусть едет. Но он сильно жалел и, жалея, думал: он будет ей писать интересные письма. Он не даст ей забыть о та-ежной Таловке, о красивом подлеске, о старых прудах, которые они не раз будили от темного, векового сна.

В Новосибирске у Галки оказалось много дел, но поначалу она писала Сергею. Писала, что работает в молодежной газете, много читает, встречает интересных людей, знает всякие такие штуки и даже сама пишет о них. А еще писала: она верит, что он, Сергей Жуков, человек упорный, будет расти, расти и вырастет большим человеком.

Тут она угадала, он и тогда выпер уже под сто восемьдесят.

Он подробно написал ей. Он же знал, что она девушка спокойная и рассудительная. Правда, ему было почему-то неприятно узнать, что Галка знает теперь всякие такие штуки и даже сама о них пишет, но это уже дело второе.

На этот раз Галка почему-то не ответила. Наверное, была занята. Зато пришла бандероль. «Плотничные работы». Станки шипорезные, пазовальные, сверлильные. Канаты крученые, сжимы всех видов, коуши. Устройство дощатых полов, изготовление клееных конструкций... Кое-что из перечисленного Сергей уже и сам знал, но повторить стоило: ведь из Галкиных рук!

Одно обидно: ни письма, ни записки. Только книжка. Подумал: одичает она там, в городе.

Отложив в сторону «Плотничные работы», он в тот же вечер решил напомнить Галке о родном селе, о том, как они с ней не раз будили старые пруды от темной, вековой спячки.

Давно было.

Они закончили девятый класс, днем работали на совхозном поле, а вечерами бегали за село, гуляли там, где их не могли увидеть чужие глаза. Это понятно. У Сергея были такие кореша, что могли засмеять.

У старых прудов никого не надо было бояться. Там не было никаких построек, а за прудами вообще началась вековая тайга. Туда они не ходили: гнус, ко-

марье. Зато на берегу можно было разжечь костерчик, а потом они начинали будить пруды от их темной, вековой спячки.

Кто не знал, в чем тут дело, тот бы и не догадался. Бросай в воду камень за камнем — никакого ответа. Ну, булькнет вода, ряска взметнется, но тут же затянет окно в ряске. Надо было тщательно прицелиться, надо было метнуть камень так, чтобы он точно попал в центр кочки, их много торчало посреди прудов. И если ты попадал удачно, со всех других кочек, как по сигналу, начинали сигать в воду крупные пучеглазые лягушки.

Ряска вскипала, пруд оживал, векового сна как не бывало!

Галка смеялась, поглядывая на лягушек. Она их нисколько не боялась, а домой от поскотины вообще шла одна, не хотела, чтобы Серегины кореша видели их вместе. Серега и сейчас подумал: не хочет, чтоб над ними подхихикивали, вот и не пишет.

Книгу прислала...

В общем, решил кое о чем напомнить Галке.

А поскольку моросил дождь и только что зацвела черемуха, он вложил в конверт крошечную веточку. Для запаха. Для петит фема Галки. Он ведь на нее не сердился. Не пишется, пусть не пишет. Только вот чтобы не забыла: под Таловкой старые пруды, там камыши под ветром, они шуршат, и утки над ними взлетают. Ему, Сереге, жалко, что он столько времени убил на изучение трех иностранных языков, было бы лучше, обойдись он родным, пойди в бригаду сразу после восьмого класса: бригадир бы к нему давно привык, смотришь, ему бы сейчас и не понадобились те «Плотничные работы».

Отправил письмо, сказал себе: не переживай, Серега. Захочет, ответит.

Но дождь моросил и моросил, и Серега, расстроившись, накатал еще одно письмо. Напомнил про воду в прудах, она темная, как в деревянной шайке. В воде отражается известняковый взлобок. Если присмотреться, на камнях можно увидеть что-то вроде шайбочек, на самом деле это не шайбочки, а вымершие окаменелые организмы. Под Таловкой таких организмов было когда-то невероятное количество, но все они вымерли. И мы когда-нибудь вымерем, закончил письмо Серега. Книга книгой, но могла бы черкнуть пару слов, а то и приехать в командировку от газеты, написала бы про всякое такое, он бы ей показал многое.

Писал Серега от души. Как ломилось на душу, так и писал.

На этот раз Галка ответила.

Он ее письмо таскал в кармане, хотел прочесть где-нибудь в одиночестве. Как назло, бригадир отправил его в птичник — чинить клетки, а там уединись, кругом птичницы, особенно Сонька Жихарева. Ростом вровень с ним, а хихикает.

Уже вечером, когда мать с отцом уснули, Серега тихонечко вышел на крыльцо.

Верещал поздний кузнечик.

Холода закончились, вот кузнечик и верещал, приняв, видно, луну за солнце. Вся Таловка лежала в сухой вечерней дымке, пускала в небо хвостики дымов. То корова мыкнет, то взбредет собака. Серега устроился поудобнее и вскрыл конверт.

«Если бы ты учился, — писала мудрая Галка, — то не торчал бы в Таловке. Ты так письмо написал, что хоть отдавай в типографию».

Ни о чем таком Серега никогда не задумывался, но Галкины слова пришлись ему по душе. В конце концов за плечами десятилетка, а сейчас он изучает «Плот-



ничные работы». «На точильном станке Тч Н13-5...» Только вот что это за Тч? И почему именно Н13-5?

Стал читать дальше.

Он узнал, что про старые пруды у него особенно здорово получилось. Галка, читая, чуть не заплакала. Ей до сих пор жалко, что однажды, будя пруды от их темной, вековой спячки, Серега неосторожно вмазал камнем не по кочке, а по лягушке-неудачнице. «Ты, Сережка, сам можешь стать неудачником, — беспокоилась Галка. — Ты зря не пошел учиться. У тебя здорово получилось про пруды, про камыши, даже про то, как я перед прогулкой напяливала на себя свитер, чтобы ты воли не давал рукам. Если бы ты писал «пшеничный» не через три «а», я бы показала твои письма одному настоящему писателю. Сейчас в городе любят такое: чтобы обязательно сельская избенка, а на стене прялки да иконы, ну, как у Белова, и чтобы кто-нибудь из стариков плохо себя чувствовал, потому что дети разъехались и некому натаскать воды...»

Серега вздохнул.

Галка много читает, но он тоже старается не отступать: прочел «Бомбу для председателя» и «Сезон туманов». Настоящие, наверно, писатели, но он не хотел бы, чтобы Галка показала им его письма. И гонорары их ему не нужны, свои двести он всегда возьмет.

Мечтать, конечно, мечтал. Как иначе? Хоть в космосе, хоть в птичнике, мечта есть мечта. Только зря Галка на него давит. Он вот как идет домой, Сонька Жихарева обязательно окликнет: «Давай, дескать, на площадку. Хорошее, дескать, дело — волейбол».

Дело хорошее, но Серега терпеть не мог, когда на него давят. «На меня сильно не надавишь, — думал он не без гордости. — Я как тот ванька-встанька. Его толкни, он до земли поклонится, спасибо, мол, но тут же и выпрямится. И я такой!»

Серега вздохнул.

Из-за ваньки-встаньки он в детстве чуть не рехнулся, вроде большой уже был, а вот ударило в голову: уложить ваньку! Если бы не Галка (они тогда жили в одном доме на две квартиры), он, Серега, может, и правда бы рехнулся.

Ванька-встанька попал ему в руки случайно, подарил его ему дядя Сеня, родственник. Серега, понятно, и раньше видел такие игрушки, но от своей собственной немножко очумел. Не он один, все чумели немножко от подарков дяди Сени.

Например, бабке Шишовой дядя Сеня привез из города фонарь не фонарь, что-то вроде ночника. Включишь его, а в прозрачной жидкости поднимаются всякие серебринки. Как салют. Редкая штука.

Бабка Шишова не спала всю ночь, проплакала перед ночником, спозаранку приплелась к Сережкиной матери. «Ты, Фиса, помнишь, как война кончилась?» — «А чего? Помню». — «Я-то, — говорит бабка Шишова, — поняла, что война кончилась, когда мы лес перестали рубить».

Это правда.

Когда мужиков позабирали на фронт, бабы дрова рубили рядом с Таловкой. Издали кто их вывезет? До войны Таловка стояла прямо в лесу, а к Победе обосновалась на большом пустыре, все вокруг вырубил. Вот бабка Шишова и проплакала всю ночь, а игрушку дяди Сени упрятала в кладовую. «Плачешь да вспоминаешь. Что за игрушка? И электричества нажгла чуть не на рубль».

А ванька-встанька был вроде гирьки: живот круглый, шеи нет, сверху круглая голова. Толкнешь, ванька качнется, прижмешь пальцем — лежит. Но отпусти, сразу вскакивает.

Серегу заело: уложить ваньку!

Придумывал: накрывал ваньку тряпкой, но ванька и под тряпкой вставал. Серега чуть не ревел, тайком,

на цыпочках выходил из комнаты, незаметно подсматривал в щель между дверью и косяком.

Нет, стоит ванька!

Качает дурацкой головой, рот до ушей, уши нарисованные.

Сергея в тот месяц запустил уроки, ванька встал ему поперек. Однажды приснилось: лег ванька! Сам лег! Сергей проснулся, приоткрыл глаз. Приснилось. Стоит, проклятый!

С великого отчаяния Сергей раскрыл страшный секрет Галке Мальцевой, а она была рассудительная девочка. «Он так устроен, — объяснила она. — Он неваляшка. Его нельзя уложить».

«Посинею, а уложу!»

«Мама говорит, так поступают одни неудачники, — Галка никогда не врала, даже друзьям. — Мама говорит, что если что-то не получается три раз подряд, еще разок попробовать можно, а вот если не получилось и двадцать раз подряд, то в двадцать первый пробуют только неудачники».

Маленький Сергей страшно обиделся: запустил в Галку неваляшкой. Тогда Галка его и подобрала. Подобрала и где-то там у себя и хранила, и только через несколько лет, когда они впервые отправились будить старый пруд от его темной, вековой спячки, призналась: хранит ваньку-встаньку. И призналась: выйдет из Жукова неудачник. Парнишка настырный, а копни — одни эмоции.

Вот это Сергей и напомнил в письме, хотел, чтоб Галка похвалила его за память. На неделе даже забежал к ее родителям. Они, понятно: «Давай к столу, Сережка!», а сами: «Галочка пишет, ей дали премию. В виде путевки. Аж на Кавказ. В горы поедет. Зря, что ль, переехала в город!»

Сергея и чай пить не стал.

«Дядь Петь, надо что помочь?»

Галкин отец, рыжий, мордастый, лет шестидесяти, обиделся: «Сами, что ли, без рук?»

Ну и ладно.

«Галочка...», «Путевка...», «Кавказ...»

Подумаешь!

Давно ли та же Галочка считала, что мир кончается за поскотиной? Давно ли он убеждал ту же Галочку, что раз существуют на свете разные языки, то существуют и разные страны?

От всех этих мыслей и воспоминаний Серега здорово мучился, а тут еще припустили дожди. Почтальонка, тетя Вера, забирая у Сереги конверт, лстыиво хмыкнула: «К Мальцевым подкатываешься?»

«А это, тетя Вера, не ваше дело. Ваше дело марку наклеить правильно».

«Я не ошибусь. Я наклею».

И вздохнула.

Не заругалась, не обиделась, только вздохнула. Будто впрямь видела впереди что-то такое, чего Серега не мог видеть.

Писем не было до августа.

Работы много, ремонтировали телятник, упаришься, наломаешь спину, но вечером Серега непременно часок проводил за столом. Мать удивлялась, отец качал головой, но Серега всю жизнь был упрямый. Галка молчит, зато он пишет.

Вот стоит во дворе черемуха. Пацаны ей пообломали пышные рога, в смысле ветки, а черемуха все равно стоит, кудрявится, нету ей дела до пацанов.

Наблюдательный стал.

Дед сидит на завалинке, загрустил, в глазах такое, будто он уже совсем ничей. Девчонки сбились в кружок, балдеют, а заводит их, конечно, Сонька Жихарева. Облака идут в небе, совсем разные, ни на что не похожие, а мы почему-то в небо почти не глядим...

Старался все рассказать Галке.

А потом получил письмо. Сухое, как солома.

«Ты чего же? — спрашивала мудрая Галка Мальцева. — Я твои письма показала настоящему писателю. Синяков его фамилия, звать Николай Степанович. Он выпустил уже три книги. Две о городе, одну про сельскую жизнь. Он просмотрел твои письма и сказал: «Хороший, — сказал, — парень. Видно, — сказал, — читает мои книги». А я сказала: «Ага, хороший, только он, наверно, не читал ваших книг». А он говорит: «Да ну! Читал, конечно. Особенно последнюю. Вот же видно, в каждом письме кусок из моей книги. Видно, так понравилось, что делал выписки...»

В общем, Сережка, не знаю, как это ты там умудрился сделать выписки у серьезного писателя, только мне-то мог бы и сразу сказать, не ставить меня в ложное положение! Письма-то с выписками из чужих книг писать просто!»

Другими словами, Галка полностью не одобрила Жукова.

Сама уехала на Кавказ, в горы, а он остался один, с носом, потому что ничего из ее письма понять не мог, кроме того, что он якобы что-то переписывал там у писателя, который был и оставался для него неизвестным.

Ничего не понять.

Это же он, Серега Жуков, плотник и столяр, напоминал Галке про старые пруды, про игрушки детства, а тут какой-то писатель, какой-то Николай Степанович, какая-то книга, про которую он никогда не слышал!..

Еле дождался утра. Побежал в библиотеку. «Тетя Маша, есть у нас книги писателя Синякова?»

Тетя Маша Федиахметова, библиотекарьша, покосилась на Серегу: «Чем это он такой особенный, Синяков?»

«Говорят, пишет про нашу Таловку».

«Да ну!»

Не поверила, но книжку разыскала.

Книжка оказалась маленькая, аккуратная, но с портретом.

Неизвестно, где этот Н. С. Сняков наслушался о его, Серегиной, сельской жизни, только каждая строка была как живая. Серега оторваться не мог. Если черемуха, сразу видно — не выдуманная. На черемухе, которая за окном, нижняя ветвь наполовину обломлена, и в книжке то же самое... Да и сам писатель: простой, седоват, но еще плотен, хотя уже и в очках. Сразу видно, нормальный мужик, такой не полезет козлом в чужие огороды. Только все равно в каждом рассказе Снякова было что-то от него, от Сереги. Такое ведь нельзя ни подслушать, ни подглядеть.

Сгоряча нагрешил на Галку. Давно-де познакомилась с Сняковым, понарасказывала ему всякого, вот он и написал... Правда, Серега уже знал, книжку, даже небольшую, за полгода не выпустишь, а Галка раньше ведь не поминала про Снякова — когда же он мог все это записать?

И еще.

Было в книжке Снякова и такое, о чем Серега просто еще не успел написать Галке. Скажем, как купались они голышом в прудах. Разошлись в разные стороны и купались. Причем Серега это купание наполовину придумал, а Сняков так описал, будто сидел от них в трех шагах.

«Буду в Новосибирске, — решил Серега, — набью морду писателю!»

А тут еще тетя Маша подняла тарарам. Писатель! О нашей деревне пишет!

Подряд две читательских конференции.

На одной Сонька Жихарева вслух читала рассказ о ночном купании. Понимала бы что, а на глазах слезы... Дескать, она книгу Снякова почитает первой книгой на свете и держит ее не на полке, а прячет под подушку.

Сергеа не успевал понимать происходящее.

Встретил Галкину мать.

Стоит посреди улицы, в глаза не смотрит. «Галочка наша повидала Кавказ. Ездила с коллективом». Намекнула подло: «Интересный был коллектив. Говорят, творческий».

Руки в боки. Чего ей Сережка Жуков!

Сергее тоже наплевать. Раз так нехорошо получается, на чем-то, наверное, надо ставить крест. Или на письмах, или на Галке. Куда ни кинь, везде одно: при чем тут какой-то Синяков? Почему пережитое им, Сергеем, стало содержанием книжки какого-то Синякова?

Но написано здорово.

Сергеа злился, сжимал кулаки, но в книжку Синякова заглядывал. Все в ней происходило немного не так, как в его собственной жизни, но все равно там описан был он, даже слова были его. Странно, что никто, даже Сонька Жихарева, этого не заметил, а ведь книжка так и ходила по рукам.

«Вот и в историю попали...» — сказал Серегин отец, прочитав книжку Синякова. Похоже, одобрял.

Сергеа отмахнулся.

Когда он корпел над письмами к Галке, отец ничего такого не говорил, не думал про историю... А вот Синяков... Синяков, может, и не дурак, а описать бабку Шишкову ему слабо. И слабо написать о том, как Таловка к концу войны оказалась на огромной поляне. Если он и слышал об этом от той же Галки, все равно написать ему об этом слабо.

Зря подумал,

Вернулся как-то с мельницы, навстречу тетя Маша Федиахметова. «Сережа, ты интересовался Синяковым. Зайди, новый журнал принесли, а в нем такой рассказ!»

«Опять про Таловку?»

«Про нее. Про нашу!»

«Так не бывал же этот Синяков у нас!»

«А может, и бывал, — удивилась тетя Маша. — А если и не бывал, тоже ничего. Жизнь тебя помутит, обо всем сможешь написать. Если жил в деревне, то, в общем-то, все равно — Таловка она или Березовка. Синяков главное видит, да ему, наверное, помогает Галка Мальцева. Знаешь ведь, Галка сейчас в Новосибирске».

«Знаю».

Перелистал Серега журнал.

Оторопь его взяла. Кто успел Синякову рассказать про бабушку Шишову? Все в рассказе было как в жизни, только немножко лучше и страшней. Сережка никак не мог понять, как же все-таки все это происходит?

Будь рядом Галка, поговорили бы. А так...

У него ведь и писем своих не было на руках, все отослал Галке. Синякова никогда не видел, а вот как закоротило между ними: он подумает, а Синяков напишет!

Серега так ошалел, что накатал запрос в областную газету: существует ли телепатия?

Сереге вежливо ответили: если даже и существует, все равно — ложная наука, поскольку ни к чему хорошему не ведет!

Вот и разберись.

И действительно...

Опять журнал, и опять рассказ Синякова. Про молодого столяра, который из праздного любопытства, правда, не в ущерб рабочему времени, интересуется лженауками.

Чиждолый рассказ.

У Сереги опустились руки. Все, что мог (помогла тетя Маша), прочел о Синякове.

Да, верно. Родился Н. С. Синяков в Киеве, но в срок первом эвакуирован в Сибирь, попал в детдом, воспитывался в Юрге (не так уж далеко от Таловки), к делу приткнулся в Новосибирске, там начал писать. Сперва певец городских окраин, теперь проявляет при-



стальный интерес к жизни села. Работает, кстати, над новой книгой рассказов.

«Ага, — зацепился за это сообщение Серега. — Вот и проверим, существует или нет телепатия?»

Положил на стол лист бумаги. О чем писать? А вот что видим, о том и напишем. Интересно, отразится это в творчестве Синякова?

«Дерево стоит. Кривое дерево. На дереве листья желтые. В листьях птицы. Собираются на юг».

Как в воду глядел.

Месяца через два рассказ в центральной газете.

Н. Синяков. «Птицы».

Все больше перечисления, короткие фразы, будто писатель торопился, обрывал слова, но оторваться Серега не мог — себя читал!

Это Соньке Жихаревой невдомек, чью книжку держит она под своей подушкой.

А там подошла весна.

Серега закрутился в делах, никаких там, понятно, писем. Дождь стучит, снег крутит. Скворцы прилетели, дико глянули на холода, полезли в скворечники. Только раз за все время Серега выбрался в библиотеку. Интересно, что там с Синяковым теперь, когда он, Серега, крест поставил и на Галке и на письмах?

А с Синяковым, оказывается, ничего. Поругивали его за молчание. После того рассказика про птиц он ни слова. Ну и Серега стал крепиться — не пишет Галке. И Синяков молчит. Выходит, не ошибся Серега — была между ними какая-то связь. Вот только кто объяснит ее?

Сонька Жихарева как-то позвала Серегу на волейбольную площадку: длинный, дескать, блок на себя возьмешь.

Он взял.

С блеском выиграли у механизаторов.

После игры Сонька увязалась за Серегой. «Ты читал рассказы Синякова? Вот писатель!»

Сергеа озверел.

Все обдумав, написал Галке. «Это мои рассказы, — написал. — В смысле, не сами рассказы, а письма. Но все равно мои. Только теперь все кончено. Синякову твоему ничего нового вовек не написать, хоть ты ему всю ночь рассказывай о Таловке, Шахерезада!»

Отправил письмо, из головы вон!

Днем работа, много работы, вечером волейбол. Играл за команду Соньки Жихаревой, но все ждал чего-то, чувствовал, не кончится просто так эта история.

Дождлся.

«К Мальцевым дочь приехала. Пигалица была, а теперь женщина. Муж при ней. Тот самый, писатель!»

Дома тоже: «Галка приехала. Пойдешь?»

Вроде как укорили. А за что? И чего ему там, у Мальцевых? Серега отправился с отцом рубить жерди.

Ветерок, комарья нет, тихо, как в погребке. Березы прозрачные. По белой коре черные тире и точки.

Тоска.

Придавишь тоску — лежит, как неваляшка, отпустишь — как неваляшка и встанет.

Нарубили жердей, впрягли в передок кобылу Арку. Идут, разговаривают.

Отец: «Женить пора».

Сергеа: «Кого? Арку?»

«Тебя, дурак. Сколько лет-то?»

«Двадцать два».

«Я в твои годы тебя нянчил».

«Тоже мне, подвиг».

«Подвиг не подвиг, главное дело выполнил. А ты Мальцеву ждешь. Других, что ли, нет? Да и поздно, мужняя Галка. — И хитро спросил: — Слышал, Сонька Жихарева куль с зерном поднимает!»

Сергеа восхищаться не стал. Поднять куль — дело мужское. Пусть не придуривается Сонька.

«А Петрова? Та, что постарше... А Кизимова? А Черепанова? А Рослякова?.. Любую выбирай!»

Отец перечислял, Арка прислушивалась, прядала ушами, косила мохнатым глазом на Серегу: чего, дескать, думать?

«Ладно, — нахмурился отец. — Беги, куда хочешь. Жерди сам выгружу».

Серега не пошел к Мальцевым.

Дорога к селу под гору, а Сергей свернул направо, тропинкой спустился к старым прудам. Темный, вековечный их сон давно никто не будил, лягушки обленились, поверхность пошла густой ряской. Освежить бы воду, пустить мальков...

Поднял голову. Замер.

Галка!

Круглое лицо чуть удлинилось, от прически, наверное, глаза подведены, сама в белом брючном костюме. Раньше за такой костюм бабки лаяли бы ее на всех улицах.

И писатель рядом.

Писателя Серега сразу узнал, видел ведь в книжке его фотографию.

— Здравствуйте, — сказал. Не молчать же.

И замер.

Решил ни о чем таком с ними не говорить. Может, Синяков еще и мысли читает?

— Здравствуйте, — негромко ответил писатель.

Он был повыше Галки, плечистый, седоватый, на плечах кожаный пиджачок, глаза не злые. Все равно Галка лучше бы смотрелась рядом с Серегой. А еще в губах у писателя дымилась тонкая сигарета, как на портрете. Но это он сразу исправил, выбросил сигарету в траву.

— Зря, — вежливо заметил Серега. — Мы тут парк разобьем.

— А как с вековечным сном? — улыбнулся писатель. Видно было, что он, как и Серега, не любит обижать ближних.

— Будем будить.

— А вообще?

— Что вообще? — насторожился Серега.

— Ты же знаешь, — доверительно сказал Синяков, и Серега почему-то принял это его обращение на «ты». — Я ведь всякое делал. Напишу рассказ, спрашиваю Галину Антоновну, были там письма от Сережки? Если были, сравниваю текст, сам удивляюсь, будто нас черт связал одной ниткой. Пишу я, а получается — с твоих слов. Я раньше считал: воспоминания. Ну, знаешь, о которых забываешь, а они все равно в тебе живут. Странно, правда? Сам-то как думаешь?

— А никак!

Серега нарадоваться не мог.

Сперва вот заставил надолго замолчать известного писателя, а теперь писатель разговаривает с ним, как с равным. Даже на «ты». И ничего, все в порядке вещей. Нормально, как сказала бы Сонька Жихарева.

— Сам не пробовал писать? Не письма, рассказы.

Серега пожал плечами. «Начни я писать, ты бы, Николай Степанович, тут же бы отхватил Госпремию!»

Галка вмешалась. Галина Антоновна. Серега думал, что ее можно и так называть.

— Чего ты дуешься? — спросила Галка. — Мы специально к тебе приехали. Ты как прислал то письмо, я сразу поняла — дуешься. А страдает кто? Думаешь, я или Николай Степанович? А вот нет. Читатели страдают. — Говорила она, видимо, какие-то очень правильные вещи, но сама обижалась пуще Сереги. — Ты, Сережка, ведь писал те письма только для меня, эгоистически, а Николай Степанович пишет для всех. Понял? Ты замолчал, я как-нибудь перебежусь, а вот Николай Степанович замолчал — людям трудно. Ты бы видел, сколько к нам приходит писем!

— Оставь, Галя, — писатель нахмурился. — Тут, понимаешь, какое дело, — обратился он уже к Сереге. — Я ту книгу, которая многим нравится, написал как-то вдруг, она у меня сказалась единым дыханием.

Получил однажды по почте неваляшку, старого ваньку-встаньку, деревянного, не из пластмассы, как его сейчас делают. Потертый, битый, видно, побывал в переделках. А при нем письмо: почему, дескать, пишете все о городе? Разве в селах нет молодежи? Так, видно, и сошлось — этот ванька-встанька, это письмо, эти мои размышления. Написалась книга на едином дыхании. — Синяков внимательно глянул на Серегу: — Понимаешь, о чем я?

— О ваньке-встаньке.

— О Галине Антоновне, — улыбнулся Синяков. — Но и о неваляшке. Это ведь она подарила мне неваляшку.

Закурил, спросил:

— Может, в нем дело?

Вот и попробуй, уложи неваляшку — крыша поедет.

Таловчане вежливо приходили к Мальцевым, посмотреть на живого писателя. В клубе устроили творческий вечер, познакомили с местным композитором Бобом Садыриным, который изобрел собственный музыкальный инструмент — из колокольчиков. Но сам Синяков предпочитал бродить по лесу, брал с собой Серегу Жукова. Сидели на прудах, спорили: дар в человеке — он ему самому, этому человеку, принадлежит или все-таки принадлежит всем людям?

Серега хорошо держался, тоже спорил. Но когда Синяков начинал пытаться: откуда у него тот ванька-встанька? — сперва отмалчивался. Потом все же рассказал. Про бабушку Шишову рассказал, про глупые подарки дяди Сени, над которыми то посмеешься, то заплачешь. В общем, всякое говорили.

Потом Синяковы уехали.

Николай Степанович уехал, Галина Антоновна уехала. Бригадир однажды хотел посмеяться (они сидели в курилке): «Серега-то задумчивый стал. Понятно, сдру-

жился с знаменитостью!» И добавил, как бы про себя: «Все через баб!»

Сергеа в драку. Разняли.

Этим дело, впрочем, не кончилось. Недели через две тетя Вера, почтальонка, выдала Сергее огромную бандероль.

— Чего это в ней?

— Ванька-встанька! — отрезал Жуков.

Домой бандероль не понес.

Понес на старые пруды.

Ленивый стоял день, пустой. Плавали паутинки. Крошечный паучок сел на Серегин нос, закопошился. Серега паучка сдул, вскрыл бандероль, вывалил кучу присланных Галкой писем. Обратные адреса самые разные: Магадан, Москва, Южно-Сахалинск, Пермь, Хабаровск, Мариинск, Благовещенск... Разные почерки, разные люди.

«Взбесились!» — подумал Серега и даже пожалел писателя. Ему ведь надо всем отвечать.

Один пишет: вы замечательный писатель, другой утверждает: других таких вообще нет. И все как сговорились: почему, ну почему вы не пишете больше про Таловку и про таловчан? Это ведь, наверное, ваше детство? У нас тоже было похожее, будто вместе жили... Одинокая учительница из Братска закапала письмо слезами. Когда она думает, что Синяков не захочет больше писать о полюбившихся ей таловчанах, она опять плачет... Плотник из Новокузнецка писал: какого черта, раз уж взялся писать, пиши! А трудновато с деньгами, он поддержит... Было даже письмо из духовной семинарии. Бывший семинарист писал, что талант нынче, он, понятно, не от бога, вот почему он, бывший семинарист, уходит в мир, в активную социальную среду, потому что таловчане, изображенные Синяковым, ясное дело, ближе к богу, чем сам папа римский.

Сергеа порадовался за бывшего семинариста и пожалел одинокую учительницу из Братска.

Надо же, подумал, рассказ про пруд, про лягушек бесстыжих, а вот действует на всех. Он, Серега, всего лишь Галке писал, одной ей, эгоистично, а получилось так, что плотник из Новокузнецка готов поддержать писателя Синякова деньжатами, только бы лишь писал!

И печально стало Сереге, потому что сам он действительно писал только Галке и нечего ему злиться на Синякова, ведь плотники и учительницы, шоферы и семинаристы читают именно рассказы Синякова, а не его, Серегины, письма, и никого вовсе не интересует, что он за жук такой, этот Серега Жуков.

В ворохе писем оказался и старенький неваляшка. Галка не без умысла его подсунула. Ты, мол, Сережка, перестал мечтать, ударился в обиды, вот и онемел неваляшка. Когда он попал к Синякову, писатель громко заговорил, а вот Серега все испортил своим эгоизмом.

Серега подержал неваляшку на ладони — стоит. Рот до ушей, уши нарисованные. Толкай не толкай, все равно встанет. Это Серегу Синяков прижал до земли. Прижал и не дает встать. Потому, наверно, и злится плотник из Новокузнецка.

Формально воцарилось равновесие.

Писатель Синяков о Таловке больше не писал, имя его уже редко мелькало на страницах журналов. Да и Серега стал забывать Галку, водил в кино Соньку Жихареву. Она ростом с него, а хихикает как девчонка. А то скажет задумчиво: «Чего-то новых книг интересных мало...»

Последнее было для Сереги как острый нож. Он видел: книгу Синякова, ту, что о таловчанах, зачитали вдрызг, с огнем ее не найдешь на библиотечных полках. И, чего скрывать, ждут новых книг. Сонька точно уж ждет. Серега даже обозлился:

— Синяков! Синяков! Я, может, написал бы не хуже!

— Ты?

— Я!

Сонька красиво и немножко презрительно качнула бедрами:

— Сначала попробуй.

Он попробовал. Из принципа.

Но раньше ведь — письма писал. Знал, зачем и кому. А теперь ни то ни се. Сонька, заглянув в его тетрадь, хмыкнула:

— Ты в городе был, балда? Там собаки лают?

— А куда они денутся?

— По квартирам сидят! — Сонька рассердилась. — Ты не порть бумагу. Хочешь почитать интересное, у меня книжка есть.

— Синякова?

— Ага.

— Вот и читай сама!

Взглянул на ваньку-встаньку (он стоял у Сереги на подоконнике), щелкнул пальцем: издеваешься?

Рядом река, лиса тявкает с той стороны, никого не боится. Луна такая яркая, что слов не подберешь, а он, Серега, впрямь несет какую-то ерунду — город там, вокзал, рыжая баба... Чего ему та баба?.. Нет, Сонька права, надо бросать это дело, а то еще впрямь станешь певцом города.

Но теперь Серегу заело.

Как в детстве, с неваляшкой.

Купил общую тетрадь, упрятал ваньку-встаньку в ящик — лежи, стервец, знаю я твои штучки! С тоски хотел совсем порвать с Сонькой Жихаревой, пусть читает своего Синякова, но шел вечером по берегу речки: сидит, долговязая, глаза на мокром месте.

— Чего ревешь?

— Книжку перечитываю.

Конечно, ту книжку!



— Я в газете прочитала, — затараторила Сонька, не утирая глаз, влажных и добрых, — что Синяков в творческом кризисе, что он ушел пока из литературы. Как думаешь, надолго ушел?

— Навсегда.

— Ты сам дурак! — сказала Сонька и снова заплакала. — Я сегодня птичницам пересказала ту историю, где они у Синякова голышом купаются, так птичницы плакали, а тетя Фрося сказала: приедет он к нам, наш писатель, мы ему подарим корзину яиц, не простых, а двухжелтковых! Писателям здоровье необходимо. У него как со здоровьем?

— Нормально.

Что ей, Соньке Жихаревой, тот писатель? А вот плачет. И тетя Фрося — тот еще фрукт! Корзину яиц двухжелтковых!

Но Соньку жалко.

Спросил:

— Пойдешь за меня замуж?

Сонька сразу засуетилась, всхлипнула еще разок для порядка, чтоб видно было — сомневается, но волосы поправила и незаметно, как в зеркало, глянула в речку. Ответила почти высокомерно, Серега никак такого не ожидал:

— Да ладно уж...

Такого Серега не испытывал даже тогда, при Галке. Помнил: будили старые пруды от темного, векового сна, распугивали лягушек — все как во сне.

А сейчас — как проснулся.

Соньку обхаживал. А Сонька призналась: это она тот куль с мукой поднимала ради него...

До того дошло: ванька-встанька, как в детстве, начал мешать Сереге. Снится по ночам, подмигивает: а вот уложи меня! А Сереге, если честно, не до него. Он неваляшку опять отправил по знакомому адресу в Но-

воснибирск. «Ты, Галка, — написал на бумажке, — скажи Николаю Степановичу, что я на него не сержусь. Невалюшка ведь через многие руки прошел, с ним, с игрушкой, все были откровенны, может, в нем и правда есть какая-то тайна? Я вот книгу читал, там прилетели инопланетяне и понастроили везде всякого такого. Может, ваныку тоже занесло к нам с других планет?..»

Написал и хмыкнул.

Дядя Сеня никогда не походил на инопланетянина.

Ответа не ждал.

Как бы навсегда распрощался с петит фема Галкой Мальцевой. А ответ все же пришел. Николай Степанович сообщал: все у них хорошо, получили невалюшку, он у них снова стоит на той же полке. Сам Николай Степанович пишет очерки, много ездит. Галина Антоновна ездит с ним, но чаще дома помогает в работе.

Советовал: «Ты, Сережа, по шею не уходи в будни. Зачешутся руки, пиши. Так просто, для себя. В этом тоже есть польза. Известно ведь, когда один где-то перестает мечтать, двум другим где-то становится плохо».

Как-то осенью Серега уснул, а ночью Сонька, жена, его разбудила. Что-то, говорит, неважно себя чувствую, в обморок могу упасть. А сама в постели лежит: беременная, но такая красивая, что Серега обомлел.

Знаешь, сказал ласково, вот длинные тени, они всегда при луне такие. Я сейчас о тебе думаю, ты очень светлая тень. Я записывать по-настоящему не умею, я не Синяков, но, хочешь, что-нибудь тебе расскажу? Тебе одной расскажу?

— Ну, рассказывай, а то я упаду в обморок.

Пруды всякие бывают, но лучше всего — прозрачные. Рыба идет, а по дну, по камешкам, по песочку, тень движется. Встретит камень, изогнется вся. А рыбе

ничего. Она так и идет себе. Это ведь тень изгибается, а не сама рыба.

Заросшие пруды тоже хороши. На них мреет ряска, растут кувшинки. Они желтоватые, растут из ила. Кувшинку потянешь, она тянется как резиновая, пускает пузырьки со дна, а потом сразу лопнет.

А утром — черемуха. Немножко холодно, морозит, а от черемухи густая волна, кружит голову. Ты, Сонька, не падай в обморок, потому что я без тебя что стану делать? Вот ты видела, как осенью стоит под забором коневник? Он коричневый, его тронешь, он осыпается, как спелая конопля. Только он невкусный, его, по-моему, и лошади не едят.

За месяц до Сонькиных родов тетя Вера принесла Сереге маленькую бандероль.

— От писателя Синякова.

— С чего вы взяли?

— Я грамотная, — с достоинством заметила тетя Вера. — Если это новая книга, дашь почитать?

Серега буркнул что-то неразборчивое, но в положительном смысле, потоптался в сенках. Опять, наверное, письма читателей — с упреками. А у него, у Сереги, дел по горло, если он теперь и рассказывает какие истории, то одной Соньке, и то ночью. Правда, не совсем одной. Сонька ведь теперь не одна.

— Это кто там?

— Это я, Сонька.

— А это что ты принес?

Серега, правда, держал в руках книжку. Небольшая, в голубой обложке. Название: «Серегины рассказы». Правда, на фотографии — писатель Синяков. Серьезный такой и в том же кожаном пиджачке.

Почему — Серегины?

Он перелистал книжку, и от сердца отлегло.

Наверное, правда — работает на них с Синяковым

тот неваляшка, тот ванька-встанька. Рассказы знакомые. Вот про коневник, который, наверное, лошади не едят, а вот рассказы о старых прудах... Не одна одинокая учительница из Братска всплакнет еще над Серегиными рассказами. Работает ванька-встанька, не устает, стервец, никак не уложит его судьба!

Спросил Соньку:

— А о чем думаешь?

— Да вот думаю, зря ты не учился. Был бы ученый, книжку бы написал, как Николай Степанович. Образования у тебя мало.

Капризничает.

— Ничего себе, мало! Я три языка изучал!

— Мало... — задумчиво протянула Сонька, но не хихикнула, по старой привычке. — Надо все пять языков. А еще химия, физика, разное...

— Зачем это мне? — удивился Серега.

— Я не о тебе, я о нем думаю, — Сонька задумчиво ткнула пальцем в свой живот, имея в виду будущего наследника. — Слышь, Сережка, ты же работаешь с деревом. Сделай ему какую-нибудь игрушку. Я не люблю пластмассовые игрушки. С игрушкой хорошей, с ней веселей и жить, и учиться.

— Сделаю, — обрадовался Серега. — Пусть живет, пусть учится. Мы его всему научим — и языкам, и химии. А ты пока почитай. Это Синяков прислал. Он, знаешь, умеет! Из-за него один семинарист от бога отрякся.

И рассмеялся:

— Подумаешь, химия! Мы его жизни научим! — Серега тоже имел в виду будущего наследника. — Он у нас вырастет упрямым, как ванька-встанька! Эх! — махнул он рукой. — Не это сейчас самое главное!

— А что?

— Да я тебе это говорю по сто раз в день!

— Подумаешь, по сто! Ты еще раз скажи. Нам с тобой скрывать от людей нечего.

**В**

**ИРТУСЛЫНҢЫ**

**ГЕРОЙ**

**или Бесконечное**

**приключение**

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

...Жена сварила кофе. Сделав первый глоток, всегда самый вкусный, Николай Владимирович попросил: — Пожалуйста, найди в шкафу черный галстук. У нас сегодня ученый совет.

— Совет? По Мельничуку? — Жена всегда была в курсе его дел. — Он что, правда изобрел там что-то особенное?

— Не изобрел, — хмыкнул Николай Владимирович. — Открыл! Он так считает — открыл... И если Хозин и Довгайло поддержат Мельничука, я обязательно съезжу ему по роже.

— Правильно! — сказала жена. — Истину, даже научную, надо уметь защищать. — И попросила: — Ты только не увлекайся, милый. Ты же сам доктор наук. Ну, одна, ну, от силы две пощечины, этого вполне хватит.

И не выдержала, спросила:

— Что он открыл такое?

— Для начала закрыл, — хмыкнул Николай Владимирович. — Он закрыл закон всемирного тяготения.

— А как же Ньютон? — заинтересовалась жена. — Как быть с такой фундаментальной физической постоянной, как гравитационная? Ведь она входит во все учебники.

— Мельничука учебники не тревожат.

— Хорошо, пусть так, но что тогда делать с этим? — Жена выпустила из рук чашку. Чашка — старенькая, надтреснутая — незамедлительно раскололась, осколки, звеня, покатались под стол. — Что-то же заставляет чашку падать?

Николай Владимирович с наслаждением пояснил:

— Сила всемирного давления! Ясно?.. Так провозглашает профессор Мельничук.

— А по мне так все равно, — миролюбиво улыкну-

лась жена. — Как ни называть, чашка все равно разбивается.

Неопределенная улыбка тронула ее красивые губы:

— Зачем Мельничуку такое странное открытие? Он ждет, что его удостоят Нобелевской?

— «Открытие новой истины, — ядовито процитировал Николай Владимирович, — само по себе является величайшим счастьем. Признание почти ничего не может добавить к этому...»

— Это сам Мельничук сказал? — оживилась жена. — Значит, он правда совсем ничего не требует?

— Ну так... По мелочам... Скажем, заменить в учебниках имя Ньютона на имя Мельничука... Это уж потом он постарается взять свое!

— Поэтому ты и хочешь его бить? — наивно уточнила жена.

— Мельничук издал книгу. — Николай Владимирович усмехнулся. — Он нагло утверждает, что эту его книгу заказывал ученый совет. Но я сам член совета и хорошо помню, что речь шла всего лишь о научно-популярной брошюре, в которой вовсе ни к чему отвергать приемлемые законы... Похоже, — саркастически заметил он, — пресловутая сила всемирного давления — это сам Мельничук и его окружение.

— Ты завидуешь, милый?

Николай Владимирович поперхнулся:

— Пожалуйста, не вмешивайся в мои дела! Я решил! Если ученый совет выступит в защиту этого ниспровергателя классиков, я влеплю ему пощечину. Пусть товарищеский суд восстанавливает поправленную истину... Мельничук, Хозин, Довгайло, — перечислил он. — Тебе ли не знать, какие они демагоги?

— Хорошо, хорошо. Вот твой черный галстук, — примирительно сказала жена. — Ты погуляй. По липовой аллее до института чуть дальше, но ты иди по аллее. Время у тебя еще есть, и нос не покраснеет, как

бывает, когда ты ходишь под тополями. Аллергия, но вот объясни это недоброжелателям!

Николай Владимирович и сам решил прогуляться. Дать пощечину Мельничуку, вырвать решение из рук совета, лстыиво предавшегося нахалу и невеже, — эта идея родилась в нем не сразу, зато сразу ему понравилась. И утро выдалось что надо, воробьи так и вспархивали из-под ног. Неплохо бы, подумал он, заглянуть к Мишину. Хотя бы на десять минут. Это немного, но с Мишиным интересно провести и десять минут. Усатый, с калькулятором, вечно болтающимся на груди, Мишин, конечно, сразу полезет к своему невероятному аппарату, смонтированному им в его почти подпольной лаборатории и, конечно, во внерабочее время. «Еще денек, — любовно погладил он некрашеную панель, — еще денек, и мы услышим голос Неба!» Это была его заветная мечта: услышать, что там звучит, в Небе.

За липовой аллеей тянулись дома. Верхние этажи казались непроницаемыми, как бы непрорисованными. Такими же непрорисованными казались облака, медленно плывущие над домами. Эта вечная и таинственная недовершенность сущего всегда мучительно волновала Николая Владимировича. Он даже взглянул направо: вчера с балкона помахала ему рукой симпатичная девушка. Но сегодня за решеткой застекленной лоджии прыгал рыжий пацан. Он показал Николаю Владимировичу широкий, как нож, язык. А на углу вчера возился с мопедом знакомый пожилой механик с Опытного завода. Сегодня на том же месте стояла пегая лошадь.

Кто ее сюда привел?..

Впрочем, на настроение Николая Владимировича лошадь не повлияла. Он придет на совет, он выслушает Мельничука и, если совет поддержит нахала, влепит ему пощечину.

Николай Владимирович наслаждался утренней тишиной. Он любил свой городок — типичный научный городок, выросший при искусственном море. Если бы не



внезапные и необъяснимые изменения: то вдруг исчезал с угла давно примелькавшийся памятник, а на его месте возникал пестрый газончик, то вдруг вместо молоденькой лаборантки появлялась в лаборатории прокуренная седая мегера, — если бы не все это, он каждый день встречал бы с восхищением, как сегодня.

Но — изменения!

«Или я схожу с ума, — жаловался он Мишину, — или с нашим миром что-то такое происходит...»

«Выбирай второе, — весело советовал Мишин, покручивая усы. Он любил Николая Владимировича. — Если я успею пустить свой аппарат в ход, если Мельничук и его компания не выкинут меня завтра из института вместе с моим аппаратом, кое-что в картине нашего мира станет яснее».

Мишин собирался с помощью своего сверхчувствительного аппарата прослушивать непрорисованные участки неба, те участки, на которых никто никогда не видел ни одной звезды. Его интересовали вообще любые непрорисованные участки нашего мира. Его интересовали и постоянные изменения, он видел во всем этом некую скрытую от глаз связь. «Главное, — убеждал он друга, — не бороться с Мельничуком, но понять, постараться понять саму суть мира!»

Если честно, слова Мишина не приносили Николаю Владимировичу успокоения. В каком-то смысле они нравились ему так же мало, как и бредовые теории профессора Мельничука.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

...Варить кофе жена отказалась.

— Вари сам, рохля! — Раздражение ее не находило никаких границ. — Я трублю в отделе кадров десять лет, но я зав. этого отдела. А ты всего лишь кандидатка без перспектив!.. Ну почему тебе не поддержать профессора Мельничука? Ты же прочел его книгу, ее

все прочли, ее даже я прочла. «Явления, отрицающие земное тяготение...» Какая тема! Такой человек пойдет далеко, он дерзает, он не признает авторитетов, не зря его поддержали и Хозин, и Довгайло. Зачем тебе идти против них?

— А зачем мне идти с ними?

— Ну да! — саркастически усмехнулась жена. — Ты желаешь шагать в ногу с Ньютоном. А чего тебе этот Ньютон? Он и умер давно, и яблоню его, наверно, спилили. Он же был англичанин, а Мельничук — наш человек! Всемирное тяготение или сила всемирного давления, какая разница? Мельничук входит в дирекцию, а Ньютон, — добавила она презрительно, — вообще был пэр.

Насчет пэра Николай Владимирович точно не помнил, но скорее всего так оно и было. При всей своей нерешительности он страстно не желал, чтобы в пэры выбился Мельничук. «Открытие новой истины само по себе является величайшим счастьем. Признание почти ничего не может добавить к этому...» Ну да! Почти ничего!.. Это так Мельничук только в предисловии пишет. Все знают, что в это «почти ничего» входят и будущее членкорство, и отдельный коттедж, и новая машина, и приусадебный участок, и поездки за кордон, а главное, новый отдел и скорее всего место первого зама. А станет Мельничук первым замом, сразу откроется, кто поддерживал его в изнуряющей идейной борьбе, а кто выказывал непростительную принципиальность. Если он, Николай Владимирович, будет держаться за устаревшего Ньютона, ему не работать в новом здании НИИ. Достаточно, поработал в старом. Это старое, выстроенное по проекту какого-то архитектора, весьма увлекавшегося конструктивизмом, слишком уж неудобно. Ни одного одинакового окна, масса кривых коридоров, бесчисленные лестницы и переходы, а в комнатах столько закругленных углов, что яблоко, упав со стола, никогда не достигло бы пола у его ножек. Искать упавшее яб-

локо следовало бы метрах в пяти от стола, а то вообще в соседней комнате. Наблюдай Ньютон за падением яблок в их НИИ, с его знаменитым законом пришлось бы повременить. Так что и идеи Мельничука родились не на голом месте.

Николай Владимирович шел по знакомой улочке. Он любил свой городок, припавший окраиной к высокой сопке. Пух тополей уже кружился в воздухе, першило в горле, но ради своего городка Николай Владимирович терпел эту пытку. Слева весело пестрели деревянные, все еще не снесенные домики. Бабка в платке натягивала между двумя березами бельевую веревку. Мужик на крыше сарая отбивал молотком цинковый лист.

Нет, затосковал Николай Владимирович, что-то вокруг снова не то... И твердо решил: забегу к Мишину. Мишин всегда со вниманием относится к его словам. «Вчера, говоришь, шел мимо девятиэтажки, а на балконе смеялась девочка? Хорошо... А позавчера? То же дом, только типа барака-временки, а в окне старушонка? Хорошо... А сегодня, говоришь, пестрые деревянные домики? Хорошо... — И успокаивал: — Ты не пугайся! Чего ты пугаешься? Все живут, но никто же не пугается этих изменений. И ты не сходишь с ума, ты просто, сам того не ведая, подтверждаешь мою теорию... Когда заработает наш аппарат, — он уже щедро приглашал друга в соавторы, — ты поймешь, в чем тут дело. Так что плюнь на Мельничука. Он или Ньютон, какая разница?»

«То есть как какая разница?» — по-настоящему пугался Николай Владимирович.

Мишин отмахивался: «Зри в корень!»

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

...Жена сварила кофе.

— Давай никогда не ссориться, — со значением предложила она. — И попробуй, как вкусно. Это насто-

ящий кофе, без вытяжек. Его привезла из Нигерии жена Довгайло, они опять ездили в командировку. Это ты, — намекнула она, — не хочешь оторваться от своих дурацких приборов. А тебя, между прочим, ценят. И Мельничук ценит, и Хозин, и Довгайло. Они говорят, что ты дельный физик, только сильно уж держишься за классическое наследие. Ты покайся. Зачем тебе этот Ньютон? За Мельничука — коллектив, он дерзкий. Ты смотри, — доверчиво сказала она. — Я роняю чашку, и она разбивается. Может, ее притягивает земля, а может, на нее давит какая-то особая сила... Какая разница? И чего вы все шумите с этим Мишиным?.. Ты покайся, Колька! Прямо на совете покайся. Не все ли равно, сила всемирного тяготения или сила всемирного давления? Чашка-то все равно разбивается. Так ведь?

Николай Владимирович неуверенно заметил:

— Не все новое и дерзкое является истиной.

— Дирекции такие вещи виднее, — строго заметила жена. — Я не первый год хожу в секретаршах профессора Мельничука. Я знаю, что он думает о сотрудниках. Тебя, например, он ценит. Только, говорит, ты находишься под дурным влиянием этого Мишина, который что-то там такое задумал, то ли Бога найти, то ли подслушать тайные мысли самой Вселенной. Профессор Мельничук все равно уберет его по сокращению штатов, а тебе даст лабораторию, я так хочу. Только ты не цепляйся за этого своего Ньютона.

— Бред, киска! — Николай Владимирович нервничал. — Где моя вельветовая куртка? Через час ученый совет, а я тут болтаю с тобой о всякой чепухе. И запомни, киска, я был и остаюсь на стороне Ньютона!

— Вот и сиди в старой квартире!

— Ньютон, киска...

— У Ньютона был просторный дом, — всхлипнула же-

на. — Я видела на картинках. У него был свой дом и сад, а в саду росли яблони.

— У нас тоже все будет.

— Только ты не заходи к Мишину!

— Он что, звонил?

— Конечно. Каркает в трубку с самого утра. Как вы, дескать, сегодня? Я говорю, как и вчера. А он каркает: так не бывает! Зачем он так каркает, Колька? Я ведь права? Чашка ведь все равно разбивается?

Допив кофе, Николай Владимирович вышел на улицу. Он любил свой городок. Торговые ряды, детские ясли, слева новая двенадцатиэтажка с непрорисованными верхними этажами. Сосны, несколько лип... Если поторопиться, он вполне успеет заглянуть к Мишину. Надо бы заглянуть. Если аппарат Мишина выбросят (а это тоже должно случиться на ученом совете), Мишин скорее всего уедет совсем в другой город.

Может, и хорошо?..

Николай Владимирович пересек неширокую площадь, показал язык рыжему пацану, выглянувшему из-за цветочного киоска, спросил: «Как дела?» — у знакомой дамы, склонившейся над капотом новеньких «Жигулей». Пробежали мимо автомобили, размазанные, как в кино, что-то неторопливо шумело, гудело, неторопливо плыли над головой неопределенные, как бы непрорисованные облака. Нормальный живой мир. В таком мире, подумал Николай Владимирович, есть смысл бороться за незыблемость законов природы. В стороне от жены Николай Владимирович сразу осмелел. Долой профессора Мельничука! Лекции профессора Мельничука неграмотны по форме и неверны по содержанию!

Николай Владимирович свернул к черному входу и по узким полуподвальные коридорам добрался до мощных двойных дверей, лишенных таблички, зато снабженных смотровым глазком.

— Мишин у себя? — спросил он рабочих, столпившихся у дверей.

— У себя. Только он никого не пускает. Приема, говорит, нет.

— А вы тут чего?

— Нас Мельничук послал, выносить аппарат Мишина. Он же по профилю, этот аппарат, он не вписан ни в какую тему, а энергии жрет будь здоров!

— Это вам тоже Мельничук сказал?

— Он! Он! — зашумели рабочие.

Николай Владимирович постучал костяшками пальцев по косяку.

— Не открою! — сварливо откликнулся из-за дверей Мишин. — Приходите после обеда, тогда я сам все вынесу!

— Это я, — подсказал Николай Владимирович, и рабочие сразу придвинулись к двери. Но он погрозил им длинным пальцем и быстро юркнул в приоткрывшуюся, но сразу захлопнувшуюся за ним дверь.

Мишин потирал руки.

Мишин был доволен.

Дьявольская конструкция, перевитая пестрыми проводами, поднималась за ним до самого потолка, увенчанная наверху подобием мощной направленной антенны.

— Удачно получилось, — прокаркал Мишин. — Упер у сына колонки. После обеда верну, все равно он купил их на мои деньги. А нам сейчас колонки пригодятся!

— Там рабочие, — пожалел Мишина Николай Владимирович. — Может, вынесем твой аппарат? Я бы помог... Мельничуку сразу доложат, а если Мельничуку доложат, он даст мне лабораторию. А если он даст мне лабораторию, я возьму тебя к себе.

— Возьмешь, возьмешь...

— Не понимаю, чему ты радуешься?

— Сейчас все поймешь. Не от Мельничука мы зависим, голубчик. Он такая же величина, как и мы... Геометрия! — прокаркал он и не менее загадочно пояс-

нил: — Вакуум не может не заполняться флюктуациями, а значит, флюктуируют и сами геометрические структуры!

— Ну-ну, — скептически произнес Николай Владимирович.

В дверь постучали. «Надеюсь, не Мельничук...» — трусовато подумал Николай Владимирович.

Наверное, о том же подумал и Мишин.

«Обесточат, сволочи!» — прокаркал он и, торопясь, полез к решетчатому пульта, потянул на себя какую-то рукоять.

«Все услышим, все поймем!..» — бубнил он про себя, а на панелях вспыхивали разноцветные лампы, оживали экраны осциллографов. Из двух круглых колонок, разнесенных под мрачным потолком лаборатории, набирая мощь, понеслись, обгоняя друг друга, странные, трудно идентифицируемые звуки.

«Вроде бы голоса... Интересно, куда именно направил Мишин свою антенну?.. Наверное, в один из тех странных непрорисованных участков неба, на которых никто никогда не видел ни одной звезды».

— Слушай! — вцепился в его плечо Мишин.

Но Николай Владимирович теперь уже сам слышал.

Голоса.

Странные, далекие голоса.

Они были такими далекими, эти голоса, будто и впрямь доносились из невообразимо далеких пространств, столь далеких, что они казались недостижимыми даже для Разума.

— Неплохо... — услышали они. — Неплохо...

.....

— Неплохо... Неплохо... — сказал Редактор. — Седьмая глава, кажется, получается. Герой оживает. Решительности бы ему!

— В первом варианте он был решителен, — заметил Автор.

— В первом варианте он был драчлив, — возразил Редактор. — Мы еле его уняли. Но вот теперь ему не мешало бы проявить характер.

— Во втором варианте он вполне его проявлял.

— Под давлением жены. И не в том плане... Зачем, кстати, ему такое громоздкое имя?.. Николай Владимирович... Не выговоришь... Возьмем что-нибудь покороче... Скажем, Илья... или Петр... Петр Ильич! А? — Редактор потер руки. — И совсем ни к чему цепляться за второстепенных героев. Зачем вам этот Мишин? И что за бредовая идея: подслушивать небо? Не нас же с вами они подслушивают?

— Может, и нас...

— Вздорная идея. Это надо убрать. Давайте еще поработаем над этой главой. Возьмем что-то от первого варианта, что-то от остальных... Синтез! Вот на чем стояло и будет стоять искусство... Пусть сам Петр Ильич и выбросит из института дурацкий аппарат Мишина... Подслушивать небо! Так мы далеко зайдем!..

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

(Вариант, отнюдь не последний)

...Жена сварила кофе.

— Почему не чай? — неприятно удивился Петр Ильич. — Через час ученый совет, а кофе слишком меня возбуждает. Мне нельзя сейчас ошибаться, — упрекнул он жену. — Мне, как никогда, следует держать форму. Вдруг в рассуждениях профессора Мельничука что-то такое есть?.. Следует присмотреться не торопясь. Ньютон, он никуда не денется.

— Петя! Петя! — заволновалась жена, красивая, дородная женщина. — Я сейчас же заварю чай. Хочешь зеленый? А ты на совете требуй лабораторию. Ты же сам говоришь, в рассуждениях профессора Мельничука может быть что-то такое... Так поддержи его! Же-



на Довгайло говорила мне, что спорить с Мельничуком не надо, он *очень* не любит споров.

— Споров ~~не~~ будет, — мягко пообещал Петр Ильич. — Я буду нем, как рыба... Мельничук или Ньютон... Ты права... Какая разница?.. Главное сейчас — получить лабораторию, а там мы и Мельничука пересидим!

— У нас есть еще время... — потупилась жена.

— Тогда я погуляю, — Петр Ильич потянулся к галстуку, торжественно выложенному женой на диван. — Пожалуй, я успею еще забежать к Мишину. Он что-то уж совсем обалдел с этим своим аппаратом... Подслушивать Небо!.. Этак мы далеко зайдем!

**Д**  
**ругой**

Стенограмма пресс-конференции.  
Сауми. Биологический Центр

Д. КОЛОН (США, «Сайенс»):

Цан Улам! В «Й Кёр», в вашем специальном информационном листке, выпущенном, как я полагаю, только для нас, опубликованы материалы, из которых следует, что долгая и практически никому не известная за пределами Сауми работа по созданию другого человека завершена, и завершена успешно. Кай Улам, другой человек, в течение ряда лет, как о том сказано в «Й Кёр», подвергался самым разнообразным операциям на генном уровне, последовательно проходил, да, видимо, еще и проходит специальную подготовку, в результате чего он, другой человек, не подвержен никаким, ни инфекционным, ни наследственным болезням, он способен в кратчайшие сроки адаптироваться к самым нежелательным условиям жизни, его устраивает любое питание, он способен без особого для себя вреда выдержать достаточно мощный радиационный удар, наконец, как сказано в той же «Й Кёр», Кай Улам, другой человек, исключительно добр к нам, к людям обыкновенным, а особенно к женщинам и к детям, и всегда, в любом самом сложном, в любом самом запутанном конфликте способен найти решение не только самое верное, но и самое человеческое. Означает ли все вышесказанное, цан Улам, что мы, люди разумные, освободимся наконец от наших низких животных страстей и сделаем решительный шаг в сторону нашего предполагаемого прекрасного будущего?

Доктор УЛАМ (Сауми, Биологический Центр):

В «Й Кёр» ни слова не сказано о так называемых людях разумных. Вообще люди разумные, как вид, — категория устаревшая. В век другого человека говорить о людях разумных не имеет никакого смысла. Принад-

лежа к нам ко всем, Кай Улам не принадлежит никому. Он шагает в будущее один. Он набирается сил, он не встречает препятствий. Путь перед ним ровен, как если бы был выстлан мрамором. Будущее принадлежит только Каю. Он не просто другой человек, он основатель другого человечества. Доктор Сайх, глава военной Ставки Сауми, учит: мозг — это величайшее изобретение природы, позволившее нам пережить многие виды других, не менее, чем мы, жизнеспособных существ, давно притупился от неправильного употребления. Доктор Сайх учит: перестраивая мир, мы вовсе не перестраиваем человека. Изучая собственную тень, а именно этим до сих пор занимается наука о человеке, мы вовсе не изучаем себя. Но способ превращения мозга из органа выживания, каким он до сих пор являлся, в орган мышления, каким он теперь будет, найден. Доктор Сайх учит: перестраивать следует самого человека. Только тогда придет блаженный покой и только тогда придет благословенное время, когда мы будем умирать только от старости.

**Н. ХЛЫНОВ (СССР, ТАСС):**

Вы говорите «мы». Что вы вкладываете в это понятие?

**Доктор УЛАМ:**

Говоря «мы», я подчеркиваю нашу обособленность от Кая. Кай — другой человек.

**Н. ХЛЫНОВ:**

Разве у нас, у людей разумных, и у него, у человека другого, разное назначение, разная цель, разное будущее?

**Доктор УЛАМ:**

Доктор Сайх учит: побеждает лишь тот, кто одерживает победу. Доктор Сайх учит: в любом единоборстве всегда побеждает Кай, другой человек. Разве это не разрешает проблему цели, назначения, будущего?

**Д. КОЛОН:**

Не посягательство ли это на венец Творения?

Доктор УЛАМ:

Вашу щеку пересекает безобразный шрам. Он явно не красит вас. Отношения многих стран и обществ изображены не менее страшными шрамами. Это не помогает никому. Вы постоянно зависите от людей далеко вам не равных по интеллекту. Вам мешают приступы безрассудного гнева, отчаяния, вам мешают приступы бессмысленной жестокости. В минуты просветления, крайне редкие, вы корите себя за противоречивость слов и поступков, за неразумный образ жизни. Вы боитесь войны, вы не умеете хранить мир. Природа — ваш враг, ваш соперник. Труд не приносит вам удовлетворения, вкусный обед, которым вы себя тешите, всегда отнят у кого-то другого. Венец Творения? Я правильно вас понял? Вы настаиваете на вашем термине?

Д. КОЛОН:

Да, мы несовершенны, цан Улам. Мы даже, наверное, очень несовершенны. Но если Кай Улам, другой человек, действительно лишен наших низменных склонностей, наших многочисленных пороков, если он действительно мудр и чист, если он действительно полностью лишен нашей поистине нелепой агрессивности и всегда добр, особенно к женщинам и детям, то почему нам, людям все же разумным, не по пути с Каем? Почему мы не можем сосуществовать с ним, совершенствуя себя в свете его высоких идей и чистых поступков?

Доктор УЛАМ (настойчиво):

Кай — другой. Кай, он совсем другой человек. Он не вмешивается в нашу жизнь, он даже может смотреть на нас благосклонно, но он совсем другой, а потому будущее принадлежит только Каю.

Н. ХЛЫНОВ:

Цан Улам! Куда же денемся мы, люди разумные?

Доктор УЛАМ:

Это не имеет значения.

Д. КОЛОН:

Слова всегда остаются словами, я привык верить

фактам. Мы хотели бы сами увидеть другого. Мы хотели бы сами с ним поговорить. Цан Улам, почему другой не присутствует на этой встрече?

Доктор УЛАМ:

Кай занят не меньше, чем был занят человек в первый день своего сотворения. Но завтра, в это же время, он примет вас в Правом крыле Биологического Центра Сауми. Вы будете также представлены одной из его жен — Тё.

Д. КОЛОН:

У Кая много жен?

Доктор УЛАМ:

Это не противоречит законам и обычаям Сауми.

Д. КОЛОН:

У Кая есть дети? У него много детей?

Д. КОЛОН:

В Сауми любят детей.

Доктор УЛАМ:

Встретившись с Каем, мы сможем задавать ему вопросы?

Доктор УЛАМ:

Это подразумевается.

Н. ХЛЫНОВ:

И мы сможем увидеть Хиттон — столицу Сауми, родной город другого человека? Нам позволят встретиться с гражданскими и военными властями? Мы сможем сравнить Хиттон с тем городом, каким он был до прихода к власти военной Ставки Сауми? Или до встречи с другим нас все так же будут держать в пустом, давно заброшенном, начинающем разрушаться отеле, к тому же тщательно охраняемом военными патрулями?

Доктор УЛАМ:

Вы увидите Кая. Вы будете говорить с Каем. Вы зададите Каю вопросы. Все остальное не имеет значения.

Н. ХЛЫНОВ:

Я настаиваю на своем вопросе!

Доктор УЛАМ:

Даже самые низкие разбойники и бандиты, увидев Кая, раскаиваются в своих преступлениях. Кай Улам, шествующий сквозь буйствующую толпу, склоняет толпу к смирению. К сожалению, мир еще не готов к великой встрече. Мир пока — это и остальные. Мир пока — это и хито, вредные элементы. У Кая нет врагов, но враги есть у каждого из нас. Наши охранные меры оправданы.

Н. ХЛЫНОВ:

Цан Улам! Кто именно входит в военную Ставку Сауми? Можете вы перечислить нам людей, конкретно отвечающих за положение внутри страны?

Доктор УЛАМ:

Это не имеет значения.

Н. ХЛЫНОВ:

Цан Улам! Известно, что несколько лет назад, когда Сауми уже закрыла свои границы для иностранцев, Кай Улам и его брат Тавель принимали участие в больших спортивных состязаниях, проводившихся в Европе. Из других источников, достаточно достоверных, нам известно, что Кай Улам, его брат Тавель, а также официальный представитель военной Ставки генерал Тханг посетили в свое время несколько молодых африканских стран, только еще делавших тогда свои первые самостоятельные шаги. Но ведь Сауми давно ни с кем, даже со своими приграничными соседями, не поддерживает никаких контактов, Сауми вообще давно вышла из каких бы то ни было международных организаций. Какой же характер носили вышеназванные визиты — спортивный, деловой, военный, культурный? И как относится Кай, другой человек, к тем весьма жестким социальным и экономическим реформам, которые проводят в Сауми военная Ставка и ее глава доктор Сайх? Да! Да! Я имею в виду те самые реформы, о которых в мире известно со слов немногих добравшихся до нас беженцев из Сауми.

Доктор УЛАМ:

Это не имеет значения.

Д. КОЛОН:

Цан Улам! Является ли Тавель, брат Кая, другим?

Доктор УЛАМ:

Тавель Улам, он из остальных.

Д. КОЛОН:

Являются ли другими доктор Сайх, члены военной Ставки, генерал Тханг, жены Кая, наконец, вы, цан Улам?

Доктор УЛАМ:

Нет, мы из остальных.

Н. ХЛЫНОВ:

Цан Улам! Вы сказали, что у Кая нет врагов. Но даже за сутки, проведенные нами в Сауми, мы успели увидеть множество надписей на стенах отеля явно угрожающего характера. Значит ли это, что здесь, в Сауми, жизнь другого человека все же подвергается опасности?

Доктор УЛАМ:

Это не имеет значения.

## Н. ХЛЫНОВ: ВЫСТРЕЛ

### 1

Солдаты не церемонились. Низкорослые, смуглые, в своих черных, просторных, похожих на пижамы мундирах, в клетчатых коричневых повязках, небрежно навернутых поверх левого рукава, в брезентовых подсумниках, на которых отчетливо была видна цифра 800, они выстроились, как муравьи, на многочисленных ступеньках крутой лестницы Правого крыла Биологического Центра, и каждый постарался поторопить журналистов. Фам ханг! Заученный точный жест. Фам ханг! Заученный толчок в спину.

«Чего им, собственно, церемониться! — Хлынов ус-



корил шаг. — Мы же из тех, кому суждено уйти. Мы же из тех, кого сменит другой. А о том, что уйдут и они, солдаты могут не знать. А если и знают, не придают этому ровно никакого значения. Любимая фраза доктора Улама: не имеет значения!.. Возможно, это девиз Сауми».

Их втокнули в огромный зал.

Зал поистине был огромен. Потолки его тонули в полумраке, масляные светильники, упрятанные в специальных нишах, освещали лишь круг, огражденный множеством невысоких блеклых ширм, расписанных сценами из жизни Будды. За ширмами, в жирной полумгле, угадывались солдаты. Скучные блики сумрачно играли на темном металле автоматов «Ингрейн Мариетт». Лишь когда глаза привыкли к тяжелому полумраку, высоко вверху Хлынов рассмотрел мощные балки перекрытий. Колеблющиеся тени делали их еще неприступнее. И совсем уж плотная тьма царила в узких высоких нишах, плотно забранных бамбуковыми решетками. Впрочем, одна из ниш была приоткрыта, решетку попросту сдвинули. Прямо под ней лежало сандаловое изваяние отшельника Сиддхаратхи Гаутамы, известного всему миру под именем Будды. И это тоже было приметой Сауми, страны, в которую иностранцы не заглядывали уже много лет. «Тем более я должен быть внимательнее, — сказал себе Хлынов. — Абсолютно любая деталь должна прочно осесть в памяти. В Азии всегда произносили много слов, ты должен запоминать не слова. Ты должен запоминать детали, способные подтвердить или не подтвердить сказанное. Ведь, несомненно, за словами доктора Улама что-то стоит. И, видимо, серьезное».

«Но что?..»

«Другой!..»

Впрочем, Хлынову вовсе не хотелось длить этот бессмысленный спор с самим собой. Он устал. Он почти не спал всю ночь, от скудной, незнакомой пищи томитель-

но ныл желудок. Больше всего Хлынов хотел наконец увидеть Кая. Он слишком хорошо знал, как расточительно в Азии относятся к словам. Слова в Азии чаще всего лишь прикрытие. Но за тем, что говорил на импровизированной пресс-конференции доктор Улам, действительно угадывалось нечто весьма серьезное. В этой стране, где собаки никогда не обрастают шерстью, где муравьи устраивают гнезда на высоких деревьях, где пестрые легкие бабочки присасываются к открытым ранам животных, где муравьеды умеют подражать человеческим голосам, слишком многое сейчас выглядело весьма серьезным.

«Насколько он реален, этот Кай? Насколько реальны его многочисленные достоинства?..»

Разумеется, он не мог пока ответить на свои вопросы, но это его и раздражало. Он слишком много времени отдал изучению этой страны, он слишком хорошо знал, как странно выглядят в Сауми самые обычные, казалось бы, вещи. Хищники, не умеющие летать, животные, буйствующие, как в безумии, птицы, обитающие только на старых прудах, наконец, сирены — символ Сауми. Никто никогда не видел этих полумифических существ, обитающих якобы в лесах в десяти, не более, кошах от Хиттона, но в канун каждого нового лунного года специально обученные охотники с целым отрядом монахов и послушников с шумом и помпой выступали на лов сирен. Пусть ни одна сирена за многие столетия существования Сауми не была поймана, все равно в саду бывшего королевского дворца возвышается просторная клетка, расписанная хищными черными иероглифами, подробно растолковывающими, какой будет та сирена, что рано или поздно будет посажена в эту клетку.

«Кай — он что-то вроде такой сирены. По крайней мере, клетка его расписана многими иероглифами».

Хлынов усмехнулся.

Где ждут чуда, там логика немыслима.

Совершив десять лет назад военный переворот, свергнув и уничтожив династию небесной семьи Тхай, доктор Сайх, в прошлом крупный палеонтолог, известный, правда, не только своими работами по ископаемым позвоночным, но и многочисленными философскими эссе, посвященными теории нового пути Сауми, неожиданно открыл таинственную прежде страну для всех иностранцев. За несколько месяцев над бамбуковыми хижинами грязного, пропахшего илом и рыбой Хиттона поднялись современные многоэтажные здания (впрочем, все так же устраивался ежегодный и неперменный отлов сирен), вошла в действие единственная железная дорога, связавшая столицу с провинцией (впрочем, все так же вместо мыла жители страны пользовались кашнеобразной смесью шишковой коры дерева тайо и стручков, снятых с кустов кимунти), задымили две достаточно мощные тепловые электростанции, а за торговыми рядами расцвела национальной мозаикой высокая стена первого в стране университета. Казалось, Сауми активно входит в число развивающихся стран, казалось, доктор Сайх, переквалифицировавшись в политика, активно вытаскивает Сауми из бездн многовековой отсталости, но по-прежнему полной тайной оставался состав военной Ставки, по-прежнему Сауми не входила ни в одну из многих международных организаций, и, в общем, никто особенно не удивился, когда после необъяснимых, никем четко не растолкованных перестрелок в столице все иностранцы внезапно, в течение суток, были выдворены из страны. Границы Сауми закрылись наглухо и надолго. Никаких контактов! Ни на каких уровнях! Полубезумные беженцы (Хлынову приходилось с ними встречаться) рассказывали невероятные вещи.

В Сауми ликвидированы все монашеские привилегии? В Сауми уничтожаются древние монастыри? Это так? Он, Хлынов, правильно понял?.. А ведь доктор Сайх сам обучался в таком монастыре.

Немногочисленные города Сауми объявлены средоточием контрреволюционных сил? Жители городов выселены в специальные поселения? Главной революционной и организующей силой провозглашено крестьянство? Это так? А ведь доктор Сайх прежде опирался на думающую интеллигенцию. А ведь годы эмиграции доктор Сайх провел в Париже, где входил в состав самых левых организаций, был лично знаком со многими прогрессивными философами, писателями, экономистами, одобрял позиции технократов. Наконец, ведь это именно он, доктор Сайх, пусть ненадолго, но открыл границы Сауми для иностранных специалистов, для передовых идей.

Хлынов внимательно изучал беседы с немногочисленными беженцами из Сауми. Вот вы. Какова ваша профессия? Врач? Это нужная профессия. Почему вы бежали из Сауми? Вас преследовали? Он, Хлынов, правильно понял: все врачи в Сауми подлежат физическому уничтожению? Ах, они уже уничтожены!.. А вы? Инженер? Почему вы бежали из Сауми? Разве в Сауми переизбыток высококвалифицированных кадров? Что значит — их нет? Совсем нет? В Сауми уже не работают ни одна фабрика, ни один завод? Можно ли этому верить?

Беженцы отвечали вразнобой. Они были слишком запуганы и измучены, чтобы составить с их слов ясную картину происходящего в стране. Отменены все общественные институты? Отменены брак, семья? Разрушены банки, детские сады, школы?.. Внешняя пресса, все еще по инерции называя доктора Сайха последним великим открывателем XX века (пусть ненадолго, но он открыл для иностранцев неведомую прежде страну), уже не без иронии замечала: «Доктор Сайх, один из немногочисленных саумцев, получивших образование за границей, оставил чистую науку ради политики, кажется, лишь для того, чтобы его соотечественники еще раз удивились и поразились той страшной роковой роли ве-

щей, что определена им в современном обществе, и окончательно оттолкнули от себя цивилизацию технократического толка. К сожалению, мы все еще не знаем, что он предлагает жителям Сауми взамен?..»

Слухи, приносимые беженцами, не отличались точностью. Армия полностью поддерживает начинания военной Ставки (будто могло быть иначе), крестьянство единогласно высказывается за уничтожение городов (будто такое не высказывалось и в другие, более добрые, времена), в самое ближайшее время доктор Сайх обещает осуществить в Сауми истинную стопроцентную революцию. Именно в Сауми, обещает доктор Сайх, вырастет новое, абсолютно новое общество, лишенное не только классовой и кастовой вражды, но и личной неприязни. «Хорошим человеком мы называем хорошего человека, — писал доктор Сайх в одной из своих работ. — Плохой человек никогда не вырастит хорошего человека, но хорошему человеку такое дело по силам. Ставка Сауми состоит из людей больше хороших, чем плохих, дело Ставки — вырастить новый народ, способный быть народом счастливым».

Доходили и еще более смутные слухи. Ставка проявляет осязаемый интерес к ядерному оружию. В этой связи называлось имя генерала Тханга. Называлась даже держава, согласившаяся продемонстрировать генералу Тхангу некое устройство, могущее убедить военную Ставку Сауми в перспективности дружбы с указанной державой. Впрочем, официально, все слухи никогда не были подтверждены. Явный нонсенс: ядерное оружие и нищая, лишенная промышленной базы страна.

Лишь однажды за многие годы промелькнуло в прессе имя Кая Улама. На гонках тяжелых «Формул», которые выиграл Тавель Улам, разразился скандал, который, впрочем, не стал особой сенсацией. Управление «Формулой», машиной самого мощного и быстроходного класса, требует от спортсмена не только мастерства и глубоких технических знаний, но и чисто физической

выносливости. Откуда все это в закрытой и нищей Сауми?

Сам Хлынов не был на тех гонках.

В день финальных заездов он находился на теплоходе, пересекающем Средиземное море. В каюте Хлынова, прохладной и мирной, сидел перед телевизором анголец Дезабу, патриот из МПЛА. Он включил телевизор вовремя: на экране сияло счастливой широкой улыбкой вдохновенное, круглое, как тарелка, лицо Тавеля Улама.

— Он выиграл? — удивился Хлынов. — Лидировали итальянец Маруччи и Кай Улам. Многие ставили как раз на Кая.

— Кто он, этот Кай? — заинтересовался Дезабу.

— Гонщик из Сауми. Он брат человека, которого ты видишь на экране.

— Разве Сауми поддерживает контакты с внешним миром?

— Частная поездка... — пожал плечами Хлынов. Но вопрос, заданный Дезабу, интересовал и его.

— Это Кай? — еще больше удивился анголец, не сводя глаз с экрана. — Если это Кай, я его знаю!

Хлынов не ответил, потому что операторы давали повтор: на полном ходу переворачивалась машина итальянца Маруччи. Кай шел вслед за ним, он еще мог вписаться в поворот, он еще мог проскочить, не зацепив Маруччи. Но, увидев объятую огнем машину итальянца, Кай, не раздумывая, вывел свою «Формулу» к бетонному бортику и, сбив скорость, вывалился наружу. Пламя лизало лицо, руки, комбинезон Кая, но он снова и снова бросался в огонь, пытаясь вытащить итальянца из деформированной взрывом коробки. Болельщики и журналисты, столпившиеся у бортика, ревели от восторга. Никто не пытался помочь Каю Уламу. Неудержимо и мощно выходили на разворот ярко раскрашенные «Формулы». Тавель шел третьим. Он увидел брата, но не замедлил движения. Его лицо показали крупным

планом: в темных, увеличенных оптикой глазах стыло торжество, торжество драйвера, преследователя, упорного смертного, как уже успели окрестить Тавеля журналисты.

На экране появилось обожженное, забинтованное лицо итальянца. «Жаль, — одними губами выдохнул он. — Жаль. Эту гонку вел Кай. Я тоже мог ее выиграть. Я верю в свою машину».

«Кай — настоящий парень! — с трудом добавил итальянец. — Теперь я это знаю. Он настоящий парень!»

Место Маруччи занял Тавель. Он приветствовал зрителей. Четыре пальца правой руки были соединены, большой согнут так, что кончиком касался указательного. Знак патака, знак большой победы. Было видно, что Тавель знает, как себя вести перед экраном.

«Кое-кто говорит, — жестко усмехнулся он, — что победу мне подарил случай. Это не так. Если ты силен, случай всегда будет на твоей стороне!»

«Кай Улам отправлен в Сауми, — объявил телекомментатор. — Наставник Кая генерал Тханг считает, что родной климат лечит эффективнее, чем чужие врачи. Генерал Тханг считает: Каю ничего не грозит. Переломы и ожоги Кая не смертельны. — Телекомментатор широко улыбнулся: — Мы верим вам, генерал! Мы желаем здоровья мужественному парню из Сауми!»

Дезабу недоверчиво покачал кудрявой головой:

— Я видел этого Кая!

— Ты впервые в Европе, Дезабу, — мягко заметил Хлынов. — А в Анголе у тебя не было телевизора. К тому же Кай в Европе тоже впервые.

Дезабу нахмурился:

— Я видел его не в Европе.

— Вот как? А где? — невольно заинтересовался Хлынов.

— Кабинда, разведрота 113, — без запинки ответил анголец. Это было примерно полгода назад. Меня привели туда португальские карабинеры.

— В Анголе? — Хлынов не мог скрыть недоверия. — Как попал Кай в Кабинду?

— Меня схватили карабинеры, — побледнел Дезабу. — Они схватили меня с каньянгуло в руках. Это такое длинное самодельное ружье, которое можно заряжать даже гвоздями. Большой наперсток черного пороха, пыж из ваты, кремь. Мы воевали и такими ружьями. А еще у меня был транзистор, я отобрал его у пленного португальца. — Дезабу произнес: у каа, у собаки. — Моя жена в то время работала диктором на радио «Ангола комбатенте» в Танзании, я часто включал транзистор, чтобы слышать голос жены, и меня схватили с каньянгуло в руках. Меня привели в Кабинду, и там я не отвечал на вопросы, потому что знал, они все равно меня убьют. Что бы ты ни говорил, они всегда убивают нас. — Дезабу произнес: нас, пье нюаров, то есть нас, черноногих. — Но на этот раз все эти каа почему-то не торопились, они, наверное, кого-то ждали, а меня поставили на колени в траву. Так я ждал, пока из комендатуры не вышли три португальских офицера, а с ними очень полный низенький человек в черной рубашке и в черных шортах. Лицо у него было побито оспой и поросло мелкими бородавками, я их видел отчетливо. Он походил на жабу, которая выглядывает из болота, у него был такой удивленный вид. С ним рядом стояли эти двое — Тавель и Кай! — Дезабу презрительно ткнул пальцем в экран. — Толстый человек с лицом жабы вел себя как хозяин. Он явно был гостем, но он вел себя как хозяин. Я сразу подумал: он Каа. У этого же, у Кая, все лицо было в пятнах, будто он плохо загорал и кожа облезла. Он подошел ко мне, и я подумал: он будет меня бить. Но он позволил мне лечь в траву и жестом показал, что я могу включить транзистор. Он будто прочитал мои мысли, он будто



понял, что я сам так хочу перед тем как меня убьют. Батарея транзистора сильно села, но я слышал голос своей жены, хотя не всегда можно было расслышать, о чем она говорит. Португальцы, человек-жаба и тот второй — Тавель, они смеялись, глядя на нас. Но шла программа «Ангола комбатенте», я знал, что скоро меня убьют, потому я ни на кого больше не стал смотреть, а стал слушать радио. А ночью меня отбили. Ни среди мертвых, ни среди пленных я никого из них не нашел. Наверное, они уехали в тот же вечер...

## 2

Хлынов и Колон стояли рядом; в кольцо ширм плясали сумеречные блики, пахло растительным маслом, сыростью. Как во сне. Впрочем, такие сны были Хлынову знакомы. Он давно свyksя с ними. Он повторил про себя: «Тебя ничто не должно отвлекать от дела. Ты не обязан вступать ни в какие дискуссии, тем более что здесь они бесполезны. Ты обязан увидеть Кая. Похоже, он действительно необычен, если его встречали и в Африке и в Европе. Ты обязан увидеть Кая и очень точно соотнести все увиденное с тем, что сказано в «Й Кёр», в листке, несомненно, выпущенном специально для нас с Колоном. Ты очень точно должен соотнести все увиденное с тем давним рассказом ангольца Дезабу и с тем, что сам не раз слышал от саумских беженцев. Если уж тебе удалось попасть в Хиттон, редкая удача, и если ты впрямь увидишь Кая, задай ему те вопросы, что мучают не только тебя...»

Он невольно поежился.

«Откуда это явственное ощущение опасности? Откуда это недоверие к Каю? Разве он не спас итальянца, разве он был груб с Дезабу?.. Ах да! — вспомнил он. — Это от слов доктора Улама. Кай — другой человек. Он пришел сменить нас. А как он будет нас сменять, это, конечно, не имеет значения...»

Он вспомнил о картонке, найденной утром под дверями номера.

Всего лишь картонка.

Но она здорово удивила и его, и Колона.

Картонка, обрывок коробки, была жирно перечеркнута угольным крестом. Точнее, не сама картонка, а имя, на ней нацарапанное, — Кай! Латинскими буквами.

— Час назад этой картонки не было, — усмехнулся Колон. — Я выходил в коридор. Я бы споткнулся об нее, лежи она на этом месте.

— Я считал, в Сауми не осталось грамотных, — заметил Хлынов.

— Дай мне картонку. Она мне не нравится. Похоже, отель не так пуст, как нам кажется. Нелегко будет объяснить наше истинное отношение к Каю, если нас застанут с этой штукой в руках. Но я сохраню ее, я покажу ее этому злобному карлику Су Вину, который не выполнил ни одной нашей просьбы. Я задам вопрос самому Каю: если ты добр, то что все это означает, кто может так не любить тебя? Здесь же ясно нацарапано: Кай.

Колон подмигнул Хлынову, и длинный шрам, пересекающий его левую щеку, странно дернулся:

— Ночка выдалась беспокойная. Держу пари, по коридорам отеля кто-то шляется. И вовсе не патрули.

Хлынов рассеянно кивнул.

Со смотровой площадки своего седьмого этажа они видели бесконечные, утренние, уходящие за горизонт леса. Семь или восемь высотных зданий, явно покинутые, неосвещенные, возвышались над джунглями, наступающими на Хиттон. Там, внизу, под сплошными, сливающимися в одно целое деревьями муфуку, всегда истекающими липким соком, лежали пустые, мертвые улочки, торговые ряды, магазины, лавки, буддийские храмы с их рифлеными крышами, загнутыми углами вверх, там же, конечно, прятались рыжие облезлые казармы,

как муравьями пабитые черными послушными солдатами — обезличенной массой, столь же бесконечной и безымянной, как джунгли. В двух-трех местах поднимались дымы пожаров, но их было немного. За годы, прошедшие после выселения жителей из столицы, в Хиттоне давно сгорело все, что могло самовозгореться. «Этот город, он что, действительно пуст?» — спросил Хлынов у молчаливого офицера, когда их везли в крытой машине из давно заброшенного аэропорта, на единственную расчищенную полосу которого с трудом приземлился чартер, доставивший журналистов в Сауми. Офицер кивнул. Видимо, на разговоры с иностранцами было наложено табу. Но офицер кивнул. Как? Хиттон совсем пуст? В нем нет ни одного жителя? Офицер кивнул. А те города, на юге? Они тоже пусты? Совсем пусты?

Офицер молча кивал.

Отель тоже был пуст.

Поглядывая под ноги (в сбившихся влажных складках ковровой дорожки, заляпанной плесенью, вполне могла притаиться какая-нибудь ядовитая тварь), Хлынов и Колон медленно миновали пять-шесть полуоткрытых дверей. Заглядывать в номера не было смысла. Все те же, как и везде, полуоборванные, полуистлевшие портьеры, олеографии с ликами Гаутамы, расстрелянные из автоматов. Позвякивали под ногами успевшие позеленеть гильзы. Целая груда их растеклась перед двустворчатой, сорванной с петель дверью библиотеки. В раскрытое настежь окно вползло несколько колючих лиан. Одна укоренилась в гигантском горшке, из которого до сих пор торчал обрубок засохшей пальмы. Полное, абсолютное запустение, подчеркнутое обломками мебели. Именно такое запустение, вспомнил Хлынов, предсказывалось в одной из древних буддийских книг. Грехи людей, было сказано в той книге, никогда не уравновешиваются суммой добрых дел. В итоге: мертвая библиотека, мертвый отель, мертвый город, мертвая страна...

Что дальше?

Прямо за порогом библиотеки опять валялись вразброс гильзы. Пишущая машинка, разбитая прикладом, проржавевший металлический ящик все с той же, знакомой Хлынову, цифрой — 800.

— Когда-то это был первоклассный отель, — сказал Колон. — Я трижды останавливался в нем. Тогда мы думали: доктор Сайх, он ведет страну к прогрессу.

Хлынов кивнул.

«Я обязан все это запомнить. Я не знаю, как ко всему этому относится Кай, другой человек, но я обязан все это запомнить. Книги, загаженные крысами и птицами, переплеты, пробитые штыками, лиану, пустившую корешки в горшке из-под пальмы. Эти гильзы, эту седую прядь, прилепившуюся к стойке абонемента. Я задам тебе вопрос, Кай. Если ты мудр, если ты прост, если ты всегда способен на истинно человеческое решение, то зачем все это? Зачем гильзы на полу? Зачем мертвые здания? Зачем мертвый город?..»

Он осторожно потянул на себя разбухший от сырости томик.

«Доктор Сайх говорит...»

Что еще говорит этот говорливый лидер?

Хлынов развернул книгу и не смог удержаться от восклицания.

— Что там еще? — Колон явно нервничал.

— Джейк! Это же ваша книга. «Доктор Сайх говорит...» Ее написали вы! Ею пользовались, вот на полях заметки. Представьте себе, кто-то ехал в Сауми с вашей книжкой.

Колон выругался:

— Не тот бедкер, с которым стоило сюда соваться.

— Вам, наверное, захочется взять эту книгу?

— Вовсе не испытываю такого желания.

Страницы сами раскрылись на вопросе, выделенном курсивом. «Правда ли, что звери из зоопарков Сауми выпущены на волю?»

И ниже, крупнее: «Доктор Сайх говорит: живое свободно по праву рождения!»

— Это относилось только к зверям?

— Что именно? — Колон осторожно повел носом. В библиотеке пахло плесенью, книжной пылью, крысиным пометом, но сквозняком доносило что-то еще — неопределенное, но смутно знакомое.

— Что именно? — повторил Колон.

— «Доктор Сайх говорит: живое свободно по праву рождения...»

— Спросите у доктора Сайха. — Колон не без иронии процитировал: — «Свободен лишь тот, кто действительно свободен!» Доктор Сайх мудр, его учение не нуждается в толкователях. Оно безыскусно. Оно так же просто, как шум листвы или шум ветра.

Хлынов усмехнулся.

Внизу, окружая отель, тянулась, теряясь в зарослях, высокая каменная ограда (возможно, ее возвели перед их прибытием), поверху ее оплетала колючая проволока. У костров, не гаснувших круглые сутки, бесшумно толклись солдаты в своих просторных мундирах. Кто более свободен: они, солдаты Сайха, или выпущенное в джунгли зверье?

— Это даже не парадокс... — начал Хлынов, но замолчал, указав взглядом на стену.

На стене чернели буквы, так же, как и на картонке, перечеркнутые жирным крестом.

Молча, не оглядываясь, они покинули библиотеку.

Коридор, сужаясь, как труба, уходил вдаль. Это был большой отель, он строился в расчете не на двух постояльцев. Но их было только двое, и они не понимали, кто мог расписать мрачными крестами эти бесконечные стены.

— Тсс...

Хлынов прижал палец к губам.

Тишина.

Мертвая тишина.

Но вот что-то звякнуло, шумно упало. Пискнула, ударившись в бега, жирная перепуганная крыса, шевельнувшись на стене клочья полуотставших обоев.

— Сквозняк?..

Хлынов так и держал палец у губ.

Он стоял перед сорванной дверью бара, пол под ногами был засыпан осколками стекла, острыми и кривыми, как сухие листья фьи.

Опять этот странный запах...

Свеча!

Преодолевая внезапную нерешительность, Хлынов переступил порог, заслонив на секунду тот бледный свет, что вливался в проем сорванной двери.

— Крысы... — шепнул Колон.

— Свеча... — возразил Хлынов.

Крысы не жгут свечей, они предпочитают их жрать.

— Есть тут кто? — спросил Хлынов. И, подождав, повторил по-саумски: — Есть тут кто?

И увидел человека. Кресло под человеком было низкое, совсем черное, почти невидимое в сумерках бара. Хлынову даже показалось: человек нелепо завис в воздухе, не касаясь пола. Но нет, человек полулежал в кресле, лицом к ним.

— Вы кто? — быстро спросил Хлынов.

И увидел второго.

Он, этот второй, лежал прямо на полу в неловкой позе внезапно упавшего человека. «Он пьян! — не поверил себе Хлынов. — Они оба пьяны!»

Запах пролитого алкоголя, впрочем, не оставлял в том никаких сомнений.

«Если людей в Сауми объявляют хито, вредными элементами, только за то, что они украли пригоршню риса, — как в окруженном солдатами отеле могли появиться эти двое?..»

Хлынов повторил:

— Вы кто?

Человек в кресле медленно поднял голову. Лицо

круглое, как тарелка, бледное. Тонкие губы шевельнулись:

— Мерде!

Впрочем, это не прозвучало как ругательство. Известный попросту выразил свое к ним отношение.

— Вы француз? — осторожно спросил Хлынов, слыша дыхание застывшего за ним Колона.

Неизвестный не ответил. Он что-то искал на полу, прямо на ощупь, не боясь ни змей, ни ядовитых пауков, которым только место тут и было.

— Вы здорово рискуете, — заметил Хлынов.

Неизвестный не ответил.

«Мерде!» — это было все, на что его хватило.

Хлынов медленно прошел к окну. Деревянная рама жалюзи разбухла, пришлось вышибать раму кулаком. На Хлынова дохнуло влажным и жарким воздухом.

Рассеянный свет упал на высокую, обшитую цинком стойку, захватанную руками. Наверное, тот, лежащий на полу, хватался за нее, падая. Сдвинутые в угол, наваленные друг на друга, кресла, частично разбитые, раскатившиеся по всему бару бутылки. Оплывшая свеча...

Но как ни был слаб и рассеян свет, Хлынов узнал лежащего в кресле человека. Он сразу узнал это круглое лицо, простеганное резкими, как рисовая солома, морщинками, этот вызывающе широкий лоб, щеки, мелко подрагивающие от тика, расширенные алкоголем зрачки, в которых даже сейчас, как солнечная пыль, мерцали диковатые огоньки, наконец, эту злую треугольную складку над переносицей.

Тавель Улам!

Драйвер.

Преследователь.

Упорный смертный...

Хлынов мельком глянул в окно.

Ничего там не изменилось. Как и вчера, когда их в крытой машине привезли к отелю и молча впихнули в

холл: выбирайте любой номер! — там дымил костерок, над которым торчала деревянная рогулька с насаженным на нее котелком. Единственная привилегия солдат: носить форму, владеть оружием и готовить для себя пищу... Патрульные внимательно посматривали на вход в отель, в отдалении маячили такие же черные фигурки. Как брат другого попал сюда? Его пропустили? Он может ходить по Хиттону свободно? Почему он не нашел более удобного места для своих развлечений?

— Пхэк! — презрительно заметил Колон. — Они перепились, не трать на них время.

— Это Тавель, — подтвердил он уже в коридоре. — Я помню его другим. Он здорово сдал.

И заторопился:

— Идем. Пусть разбираются сами.

### 3

«Для одного дня впечатлений достаточно... — решил Хлынов, рассматривая ширмы, делящие пространство Правого крыла на ряд запутанных лабиринтов. — Бессмыслица, возведенная в абсолюте, перестает удивлять...»

И невольно вздрогнул.

Из узкой боковой ниши бесшумно выскользнул прихрамывающий человечек, почти карлик, со злым, маленьким лицом, собранным в кулачок. Но именно он нужен был Хлынову.

— Цан Су Вин!

Карлик, бесшумно ступая, подошел, загадочно, но вежливо улыбнулся. Колон, в белой рубашке с нашитой на грудь нелепой нейлоновой розочкой, завис над Су Вином как грузовой кран, но помощника доктора Улама это, похоже, ничуть не смутило. Он ожидал вопросов, он был готов ответить на любой вопрос. Он глядел сразу на обоих журналистов, благо его раскосые глаза вполне справлялись с таким делом.



— Цан Су Вин, — спросил Хлынов, — вы совершенно уверены, что Каю Уламу, другому человеку, не грозит опасность?

— Доктор Сайх учит: опасность внутри нас. Доктор Сайх учит: хороший человек всегда побеждает даже большую опасность! — вежливо ответил помощник доктора Улама.

— А это? — спросил Колон, вытаскивая из кармана перечеркнутую крестом картонку. — Что может означать это?

Су Вин не спросил, откуда у него эта картонка. Хитон пуст, но Хитон огромен. В таком огромном городе, даже пустом, вполне могут укрываться отдельные вредные элементы. Ни один мускул не дрогнул на крошечном лице Су Вина. Да, отдельные вредные элементы могут укрываться в пустом городе. Су Вин вежливо улыбнулся. Конечно, могут. Но это не имеет значения.

Бесконечно сузившиеся глаза Су Вина не выражали ни беспокойства, ни интереса. Если он что-то знал, это было его знание, ничье больше. Своей вежливостью Су Вин подсказывал журналистам: что бы здесь ни происходило, это не имеет значения.

Так он и сказал:

— Не имеет значения.

Колон закипал. Но он еще держался, он еще хотел выглядеть человеком достаточно сдержанным. Он даже усмехнулся понимающе. Он, Колон, предпочел бы получать более распространенные ответы. Доктор Улам очень много и очень хорошо говорил о доброте и различных положительных чертах другого человека, но как тогда объяснить появление на стенах отеля множества надписей явно угрожающего характера? Кай добр, честен, прост. Кто может желать ему зла?

Су Вин вежливо ответил:

— Не имеет значения.

Но Колон не желал отставать, ему хотелось расше-

велить карлика. Кай добр, честен, прост, но за пределами Биологического Центра у него явно есть недоброжелатели. Наверное, это хито, вредные элементы? Колон понимающе усмехнулся. Понятно, хито неграмотны, мстительны, тупы. Но ведь Кай не может всю свою жизнь проводить в Биологическом Центре, видимо, надежно защищенном, надо же и ему выходить, видеть звезды, дышать воздухом великой реки, слушать цикад. Или ему этого ничего не надо, а, Су Вин?

— Не имеет значения.

Колон не желал отставать. Эти солдаты за ширмами, они, наверно, не столь умны, как Кай, и не столь добры, и не столь грамотны. Скорее всего они вообще неграмотны и тупы. Явно из таких же вот существ, условно мыслящих, собираются и банды хито. Он, Колон, хотел бы знать следующее. Эти черные солдаты охраняют здесь Кая и его гостей от возможных вылазок хито, а разве сами они втайне не могут быть хито? Не стоит ли подумать о том, что именно они могут быть опасны Каю?

— Не имеет значения.

— А что имеет значение? — взбесился Колон.

— Оставь его, Джейк... — Хлынов тронул Колона за плечо. — Вон и наш приятель... Для человека, еще утром отравленного алкоголем, он выглядит, признайся, неплохо.

— Тавель?

— Он самый. И учти, Джейк, он направляется к нам.

— Не к этому же карлику, — буркнул Колон, ничуть не тревожась, что Су Вин его слышит. — Лет девять назад я имел несколько бесед с Тавелем. Тогда он выглядел очень уверенно, за ним стоял отборный офицерский корпус. Надо сказать, беседы с Тавелем всегда были интересны.

Оттолкнув плечом низкорослого солдата, равнодушно сидящего на корточках под расписанной лотосами

ширмой, в круг света, лениво отбрасываемого светильником, прищурясь, шагнул невысокий человек в черной форме, с клетчатой повязкой на рукаве.

Уверенная улыбка на круглом лице, левая рука в накладном кармане похожего на пижаму мундира. Жесткий взгляд.

«Актер, — почему-то подумал Хлынов. Но его интересовал этот человек. В свете давнего рассказа Дезабу интересовал вдвойне. — Опасный, похоже, актер».

— Привет! — сказал Тавель сразу обоим журналистам. И отдельно улыбнулся Колону: — Я узнал вас, Джейк. Мы встречались с вами в пресс-центре Ставки, не так ли? Ваши репортажи из свободной Сауми были для своего времени сенсацией. Вы заслужили поощрение, Джейк. — Он еще больше сузил глаза. — Хотите поохотиться на сирен? Я смогу это устроить.

И перевел взгляд на Хлынова:

— Довольно мифов! Слишком много клеток пустует в Сауми!

— Они действительно пустуют?

— Не все, — усмехнулся Тавель. — Какое-то их количество заполнено хито, вредными элементами. Реальность мира они могут осознать, только попав в клетку. Но я говорю о настоящих сиренах, Джейк.

— Какова вероятность того, что эти ваши сирены впрямь существуют?

— Вероятность? — Тавель ничуть не удивился. — Если она и не равна единице, все же отлична от нуля.

Прекрасный ответ. Но он, Колон, журналист, он имеет дело с весьма требовательными читателями. Он слишком хорошо знает, что любое слово требует проверки. Лет девять назад, увидев впервые Сауми, он, пожалуй, был настроен несколько романтично. Тогда он верил многому, тогда он даже сам просил включить его в состав охотничьего отряда.

— Это так, — улыбнулся Тавель. — Но тогда мы были заняты не сиренами.

О, да. Он, Колон, согласен. Тогда офицеры Тавеля были заняты не сиренами. Его, Колона, тогда не включили в состав охотничьего отряда. Почему он должен верить, что его включают в состав отряда теперь?

— Вы отказываетесь? — удивился Тавель.

И, отступив на шаг, пряча лицо в тени, позвал:

— Садал!

Из-за ширмы, задев солдата, выступила сгорбленная тень. Этот человек был бос, длинные свалывшиеся волосы падали на его плечи, но руки, наверное, давно не мытые, он все же держал в карманах невероятно истрепанной, но все же курточки, то есть вещи, давно объявленной в Сауми вне закона; за одно только появление в этой курточке в залах Биологического Центра он должен был пополнить ряды хито, вредных элементов, отправляемых на юг страны; он являлся полным отрицанием многого, о чем слышал Хлынов от беженцев. А попойка Тавеля и Садала в отеле? Как они могли миновать патруль? Их пропустили? Значит, как всегда, и здесь, в Сауми, есть люди, не подпадающие под законы военной Ставки?

Тавель усмехнулся:

— Перед вами человек-дерево, Джейк? Почему же вы сомневаетесь в наших сиренах?

Человек-дерево? Журналисты переглянулись.

— Правильно ли мы поняли? Вы сказали, Садал — человек-дерево?

Тавель стоял, широко, по-армейски, раздвинув плечи, левая его рука лежала в оттопыренном кармане мундира. Он был сама уверенность. Человек-дерево своею сгорбленностью лишь подчеркивал его мощь.

Две или три минуты они молча смотрели друг на друга, затем Тавель Улам отступил за ширму, увлекая за собой свою тень.

— Зачем он подходил? — удивился Хлынов.

И Колон усмехнулся:

— Не имеет значения.

«Для кого? — подумал Хлынов. — Для кого это все не имеет значения? Для Су Вина? Для Тавеля? Для солдат?..»

Вряд ли.

Трудно поверить, но доктор Улам, похоже, говорил не столько о своей стране, сколько обо всем остальном мире. Другой человек создан, он феноменально жизнеспособен, он возвышается над всем миром как колосс, а значит, все остальные должны со временем сойти со сцены.

Все?!

«Не спеши, — сказал себе Хлынов. — Мало ли кто уже вешал о близком конце света? Человечество слишком крупная категория, чтобы его можно было отменить словом одного из саумских лидеров. Если уж быть точным, опасность грозит вовсе не человечеству. Скорее всего опасность грозит именно другому человеку. Противопоставление всем никому еще не сходило с рук...»

Он, собственно, еще не знал, что и кто может угрожать Каю, он, собственно, и Кая еще не видел, чтобы ясно осознать, кто он — этот другой человек? Но опасность таилась в слабом перемигивании светильников, в шорохах, доносившихся из-за ширм, в диковатой сумеречности Биологического Центра.

«Не спеши, — сказал себе Хлынов. — Легко объявить человека другим. Легко сказать: Кай, он уже с нами. Надо еще доказать его отличие от всех остальных, надо еще доказать его право на его собственный путь, судя по всему, не вяжущийся почему-то с путями человечества. Гляди. Слушай. Запоминай. Легче всего придумать удобную схему, еще легче принять чужую схему. Не гляди на Кая глазами доктора Улама, даже Джейка Колона. Попробуй увидеть его сам, взгляни в его глаза, задай ему самые главные вопросы. Если он

действительно мудр, прост, умен, если он действительно истинно человечен, он должен знать, что происходит в Сауми, и должен отдавать себе отчет в происходящем. Только увидев человека, можно понять — кто он».

От нетерпения его охватил озноб. Они могли бы и не затягивать программу, подумал он с внезапным раздражением. И в этот момент из высокой ниши, той, перед которой валялась сандаловая фигура поверженного Гаутамы, в круг света, отбрасываемый масляными светильниками, ступило в зал несколько человек.

## 5

Первым шел генерал Тханг.

Черная рубашка с накладными карманами на груди, черные короткие армейские брюки, грубые сандалии на босу ногу, — генерал Тханг выгодно отличался от Су Вина, тщедушного карлика, живо бросившегося навстречу. Низкорослый, но плотный, генерал Тханг выбросил руку перед собой, и тем же жестом, в полном молчании, ответили генералу затаившиеся за ширмами солдаты. Если они и были охраной Кая, охрана впечатляла. Только сейчас Хлынов осознал, как много в зале солдат.

Лицо генерала Тханга (лунное — хотелось сказать, и так потом Хлынов и написал в отчете) было изрыто оспой, но он совсем не походил на карикатуры, время от времени появлявшиеся в европейских политических вестниках. Член военной Ставки Сауми, до переворота — начальник Особого отдела королевской армии, личный друг доктора Сайха. Оставаясь куратором армии, генерал Тханг все основное время отдавал воспитанию Кая Улама. Но Хлынов знал, именно он, генерал Тханг, воспитатель другого, самого мудрого и доброго человека, отправил в специальные поселения десятки, а может, и сотни тысяч хито, вредных элементов. Уби-

вая — воспитывать? Хлынов усмехнулся. Наверное, это не последний парадокс Сауми.

Справа от генерала Тханга шел доктор Улам, уже известный Хлынову по пресс-конференции. Вокруг этого имени всегда витало много легенд. Никто точно не знал, где и какое образование получил известный генетик. Чаще всего назывался биологический факультет одного из германских научных центров. Затем лаборатории в Бельгии, в Штатах, в Великобритании. Нигде Улам не задерживался долго. Само начало его карьеры отдавало скандалом. Тогда, незадолго до мировой войны, весьма высоко, до двухсот марок за самку, ценилась порода кроликов рекс с «плюшевым» мехом, выведенная в Германии. Желая сэкономить валюту Сауми, Улам перешеголял всех контрабандистов. Он попросту вывез из Германии пару метисов, имевших самый беспородный вид и ничего не стоивших. Но вывезенные им метисы были гетерозиготами — носителями рецессивной мутации рекс. Уже в первом поколении Улам получил два настоящих рекса, а в третьем мутация была размножена и пошла в массовое производство.

Это Хлынов знал. Но когда точно доктор Улам вернулся в Сауми? Как вышел на доктора Сайха и с какими предложениями? Кто поддержал его исследования, вызвавшие в свое время весьма негативную реакцию у многих ведущих генетиков мира? Почему из двух сыновей Улама назван другим только Кай? Сыновья ли они ему? Какое отношение он сам имеет к происходящему в Сауми? Знает ли он, создатель другого человека, о беспримерных гонениях на хито?

«Не может не знать, — решил Хлынов. — В конце концов уничтожение хито — это не просто очистка страны от вредных элементов, по терминологии доктора Сайха, это еще и высвобождение жизненных пространств для другого человека! А чувствуют ли хито боль, страдают ли они? Не имеет значения. Страшно ли им в заболоченных джунглях, в ночи, когда сама тьма

под бесконечно отдаленными звездами влияет на сознание? Не имеет значения».

Хлынов жадно рассматривал доктора Улама.

«Не будь наивен... Все, что происходит в Сауми, прежде всего связано с делами этого высоколобого человека...»

Он перевел взгляд и рядом с крошечной женщиной, тонкой, как цветок лотоса, плотно задрапированной в легкий, блеклого цвета тхун, похожий на сари, увидел Кая.

6

Как всякий опытный журналист, Хлынов знал: трех строк о характерных жестах, улыбке, блеске глаз, походке — мало, чтобы дать запоминающийся портрет; а десять строк снимают напряжение. «Его рост может удивить, — писал он позже в отчете. — Мы привыкли считать выдающихся людей выдающимися во всем, даже в росте. И хотя определение «высокий» в данном случае можно отнести только к категории нравственной, почему-то хотелось, чтобы и физически другой человек выглядел рослым. Но Кай невысок. Зато в нем есть нечто иное. Одного взгляда на него достаточно, чтобы неожиданно понять: всю жизнь вам не хватало именно этого человека! Всю жизнь вы мучились от того, что вашим суждениям не хватало глубины, что вы далеко не всегда поступали верно, что чаще всего вы попросту были несправедливы к ближним... И все по одной причине: вы не знали Кая, не могли посоветоваться с ним, доверить ему свои тайные мысли и желания. Достаточно увидеть это смуглое лицо с живыми глазами, видящими вас насквозь, обменяться с ним взглядом, поймать скользящую по губам улыбку, чтобы осознать — вот друг! Рядом с ним обретаешь способность мыслить здраво и честно, рядом с ним вдруг ощущаешь себя человеком. Несовершенным, усталым, мо-



жет, даже отчаявшимся, но — человеком. Общеизвестно, что эволюция (социальная) наделила нас немалым умом, но она не отняла у нас, к сожалению, наши многочисленные слабости и пороки. Увидев Кая, начинаешь думать, что, вступив в соперничество с природой, доктор Улам сумел учесть все. Короче, один лишь взгляд на Кая вызывает желание изменить себя!..»

Крошечная женщина рядом с Каем была Тё.

Она высоко подняла руку, знак миролюбия и приветия, и осторожно шагнула в зал, не замечая таящихся за ширмами солдат, не замечая колеблющихся в нишах теней.

Выпрямившись, Хлынов жадно разглядывал Кая Улама.

То, что это Кай, он понял сразу. Споткнувшись о циновку, Кай рассмеялся, и смех его оказался таким высоким и чистым, что треснул и распался на две части стоявший в нише хрустальный ритуальный сосуд.

Краем глаза, чисто машинально, Хлынов отметил: спрятав руки в карманы, Тавель тоже шагнул вперед, навстречу брату, но его оттолкнул Садал. Его руки тоже прятались в карманах курточки. «Что у них там?» Но сам вопрос сейчас, при Кае, показался мимолетным, ненужным.

Хлынов видел: вот Кай!

Голова у него закружилась, он никогда не испытывал ничего подобного.

«Я хочу быть рядом с Каем!»

Хлынов вовсе не потерял способности анализировать происходящее. Просто перед ним появился человек, какого он подспудно, подсознательно искал всю свою жизнь, как искали этого человека и доктор Сайх, одним движением бровей обращающий самого благополучного человека в хито, и генерал Тханг, держащий в своих руках жизнь многих, если не всех, саумцев, и Колон, до

этой минуты отзывавшийся о Кае скорее недоверчиво и без особого чувства, и даже, наверно, Садал, застывший в углу в своей нелепой изодранной курточке.

Хлынов испугался: Кай — другой!

И облегченно вздохнул: он не чужд нам. Он смотрел на Кая, он отчетливо помнил слова доктора Улама: «В обозримых нами веках я не вижу места для нас, людей разумных, рядом с Каем», но почему-то эти слова, звучавшие раньше так зловеще, сейчас его не трогали. Не все ли равно, работаешь ты над книгой в тиши кабинета или подыхаешь с голоду в тесной бамбуковой клетке?

Не все ли равно... если нет Кая?

Он не спускал глаз с другого. «Через минуту, через две он окажется рядом. Через минуту, через две я смогу наконец спросить его обо всем. В его глазах горит понимание. Он не может не ответить, потому что он понимает каждого из нас...»

Хлынов не понимал, что с ним творится.

Он шагнул вперед, чтобы приблизить скорую встречу с Каем, но другого человека вдруг прикрыла спина Садала. Всего на одно мгновение, неуловимое, как сон, но этого мгновения вполне хватило на то, чтобы мир, только что живой, дышащий, ждущий, даже умиротворенный, вдруг раскололся. Grimаса боли и удивления на лице доктора Улама, Су Вин, бросившийся, как крыса, в ближайшую нишу, высоко вскинутые брови на рябом, как Луна, лице генерала Тханга, отчаянный крик Тё.

«Я опоздал...»

Хлынов так и подумал: «Я опоздал...»

Он еще не знал — почему. Просто он видел, как генерал Тханг отступил в сторону, а Су Вин бросился в нишу. Просто он еще слышал голос Кая, голос человека, которому ни в чем нельзя отказать: «Дай его мне!» Он даже не видел, кому Кай сказал это.

Но почти сразу раздался выстрел.

## II

Стенограмма пресс-конференции.  
Сауми. Биологический Центр

Д. КОЛОН:

Цан Улам, вы согласны, что люди не ангелы?  
Доктор УЛАМ (улыбается):  
Несомненно.

Д. КОЛОН:

Но появление Кая Улама, другого человека, если я, конечно, правильно вас понял, совершенно однозначно обрекает человечество на уход со сцены мировой истории. Даже к святому, самому чистому мудрецу можно проникнуться жестокой ненавистью, если его святость и чистота несут гибель тебе и твоим близким. Неужели вы думаете, что рано или поздно не найдется фанатик, столь же страдающий за отторгнутое от жизни человечество, как вы страдаете за Кая?

Доктор УЛАМ (улыбается):

Доктор Сайх учит: нельзя выиграть шахматную партию, не отдав ни одной фигуры. Кай не бессмертен. Но, как вид, Кай сильнее и совершеннее человечества. Вы правы, я предвижу настоящую войну против Кая, я предвижу целый ряд войн против детей другого человека, я предвижу террор, взрывы и выстрелы, но теперь, когда другой уже с нами, это не имеет значения.

Д. КОЛОН:

Дети Кая? Их много? Они живут здесь, в Сауми?

Доктор УЛАМ:

Кровь другого течет уже не только в его жилах. Это главное.

Н. ХЛЫНОВ:

Цан Улам! Не боялись ли вы, экспериментируя с наследственными клетками человека, наделать губительных, непоправимых для нас ошибок? Не боялись ли вы,

сами того не ведая, создать биологически опасные, неизвестные прежде молекулы инфекционных ДНК, свойства которых никто не в состоянии предсказать? Согласитесь, ядерную бомбу или лазерное оружие можно, на худой конец, упрятать под надежный замок, но как управиться с ничтожными микроорганизмами, если они случайно попадут в окружающую среду?

Доктор УЛАМ:

Доктор Сайх учит: ошибка — это не обязательно поражение. Доктор Сайх учит: победа — это всегда шаг вперед. Доктор Сайх учит: ошибка, ведущая нас к победе, — это тоже гигантский шаг вперед. Люди, боящиеся ошибок, чаще всего находят себя в садоводстве, вот почему садоводство в Сауми до сих пор остается неразвитым. Кто даст гарантию, что те работы с наследственным веществом, что были в свое время запрещены в некоторых развитых странах, не ведутся до сих пор, только втайне? Кто даст гарантию, что, откажись я от работы по созданию другого человека, за такую работу не взялся бы кто-то другой, более беспринципный и менее талантливый? Не скрою, мне пришлось отказаться от постановки некоторых, явно взволновавших бы общественность вопросов. Но доктор Сайх учит: идти следует только тем путем, который ведет к победе. Доктор Сайх учит: если путь приводит к победе, это правильный путь. Я победил свои сомнения, я отказался от очередной, никому не нужной попытки чинить в очередной раз все то же вздорное и чванливое существо, каковым мы все являемся. Я пошел на большой риск, я сделал объектом эксперимента плоть от своей плоти, этим объектом стал мой собственный сын. Не скрою: эксперименты подобного рода не обходятся без боли, без страданий. Но будущее надо выстрадать. И, кроме того, разве каждый из нас в течение неопределенно долгого времени не ставил над собственными детьми эксперименты гораздо более приблизительные и уж, в любом случае, более жестокие?

Н. ХЛЫНОВ:

Цан Улам! Почему вы не пошли по достаточно много обещавшему пути общего повышения коэффициента интеллектуальности? Возможно, такой путь не поставил бы вас пред такой зловещей альтернативой: остальные или другой?

Доктор УЛАМ:

Тщательный анализ многих и многих результатов специальных исследований свидетельствует, что те или иные значения коэффициента умственных способностей не являются мерой положительных или отрицательных качеств вообще человека. Лица с высоким коэффициентом интеллектуальности могут быть одновременно неорганизованными, невнимательными, равнодушными, даже злобными, тогда как лица с низкими коэффициентами, напротив, могут отличаться высоким чувством ответственности, трудолюбием, уважительностью. Меня не устраивали подобные варианты. Я хотел большего. Доктор Сайх учит: будущее — в гармонии.

Н. ХЛЫНОВ: Цан Улам, связана ли система перевоспитания, принятая в саумских специальных поселениях, с проблемой другого человека?

Доктор УЛАМ (вежливо улыбается):

Доктор Сайх учит: воспитание — оно для остальных. Перевоспитание — оно для хито. Кай — другой. Он совсем другой. Вопросы воспитания, как мы привыкли их понимать, не имеют к другому никакого отношения. В ничтожно малом объеме любого организма, будь то жаба или человек, самой природой заранее записано, как этот организм после своего появления на свет будет реагировать на тепло и холод, на пищу и на психологические раздражители, на те или иные условия его жизни, наконец, каких детей он оставит после себя: трусливых или мужественных, крепких или болезненных, мудрых или тщеславных? Нам удалось идентифицировать те специфические гены, которые непременно обеспечивают идеальное развитие детского мозга без

создания каких-либо особых условий для обучения. Внося в генетический код определенные коррективы, мы, в принципе, всегда можем наделить человека как дерзостью тигра, так и беспечностью бабочки. Вот почему Кай не получил никакого воспитания в обычном смысле этого слова. Вот почему Кая нельзя ни смутить, ни развратить. Кай другой. Он совсем другой!

Н. ХЛЫНОВ:

Но ведь он человек!

Доктор УЛАМ (улыбается):

В самом высоком и истинном смысле.

Н. ХЛЫНОВ:

Тогда почему, цан Улам, вы так упорно отрицаете саму возможность мирного сосуществования другого и остальных?

Доктор УЛАМ (жестко):

Доктор Сайх учит: политика сосуществования отвергает человечество в жизнь еще более полную опасностей и тревог. Доктор Сайх учит: политика сосуществования медленно, но бесповоротно превращает людей в хито, вредные элементы. Доктор Сайх учит: хито — это враги. Хито — это исконные враги. Хито — это враги и остальных, и другого. Хито предают истинное. Хито следует обуздать. Хито предают извечное. Хито следует уничтожить. Доктор Сайх учит: на земле нет места сразу для остальных, для хито, и для другого. Доктор Сайх учит: будущее — только для Кая. Доктор Сайх учит: ни хито, ни остальным нет места в будущем. Я ничего не могу к этому добавить.

Н. ХЛЫНОВ (стоя, настойчиво):

Цан Улам! Означает ли сказанное вами, что у Кая, у другого человека, есть враги, что у него много врагов?

Доктор УЛАМ:

Не имеет значения.

## ТАВЕЛЬ: УПОРНЫЙ СМЕРТНЫЙ

### 1

«Какова вероятность того, что эти ваши сирены действительно существуют?»

Не равна нулю. Этого достаточно. Этот американец ничего не понял. В стране другого человека вообще ничто не равно нулю. Сирены тут ни при чем. Он, Тавель, мог предложить и охоту на ангелов. Какая разница? Какое значение имеет тот факт, что ангелов, может, и впрямь не существует? Если он, Тавель, предлагает поохотиться, этого вполне достаточно для того, чтобы сказать да. Человек рождается глупым в четырех случаях: когда он зачат в полночь, когда он зачат в последний день лунного месяца, когда он зачат в канун ливня или, наконец, в глубине леса. Похоже, этот американец с безобразным шрамом через всю щеку отвечал всем четырем условиям.

Тавель сжал кулаки.

Доктор Сайх учит: усталость — удел слабых. Неужели он, Тавель — упорный смертный, драйвер, преследователь, неужели он начинает уставать? Почему так томительно тянет несколько лет назад задетую пулей ногу, почему подрагивает мускул под левой скулой? Если содержимое еще уцелевших бутылей и фляг в брошенных лавках и подвалах Хиттона и не так чисто, как он считал, все равно это не должно сказываться на мышцах. Настойка куты, изготовленная лучшими нифангами с юга, должна снимать любую усталость, тем более последствия попоек. Он не зря укрыл в Биологическом Центре трех известных нифангов, остальные скорее всего давно уничтожены в специальных поселениях. Никого из них не спасло замечательное искусство врачевать самые безнадежные раны и болезни. Они хотели думать, это их погубило. Он, Тавель, зачат не в

канун ливня, не в последний день лунного месяца. Он, Тавель, зачат во вторник, под лучами планеты Раху. Нифанги зовут эту планету звездой убийц и военачальников. Они правы: кому, как не Тавелю, доктор Сайх отдал офицерский корпус в самые тяжелые годы для Сауми? И сейчас он, Тавель, жалел только об одном: он не может, как несколько лет назад, отправить строптивого американца в одно из специальных поселений, предназначенных для самых тупых хито. Несколько лет назад он сделал бы такое не задумываясь. Опыт у него был: в тех же поселениях давно затерялся след одного из весьма известных соотечественников Колона. Журналист и философ, он был крупной птицей, играл видную роль в развитии самых левых организаций, лично дружил с доктором Сайхом. Естественно, он пропагандировал идеи доктора Сайха. Людям ни к чему кочевать по стране, они должны жить и умирать на глазах людей, знающих все ими свершенное, люди обязаны отказаться от любой собственности, ибо она приводит людей к комплексу неполноценности, люди обязаны покинуть скученные старые города, — разве не города являются очагами самой злостной контрреволюции? Впрочем, понять учение доктора Сайха до конца не смог даже этот блистательный интерпретатор. Великие переселения, всегда сопровождавшиеся огромным количеством жертв, при близком знакомстве вызвали у него сомнения. Он высказал эти сомнения вслух. Он любил высказываться вслух. Великие переселения, похоже, не самое лучшее подтверждение правоты теорий доктора Сайха. Может быть, самое простое, но все же не самое лучшее. Тавель с удовольствием повез американца в одно из самых глубинных спецпоселений... Пропал в джунглях или убит вредными элементами — разве трудно найти внятное объяснение? Если американец жив, он должен научиться прекрасному искусству произносить вслух поэмы глубокого самокритического содержания. Колон рядом с раскаявшимся соотечественником



мог научиться многому. Тавель жалел: он не может повторить опыт.

Он устает?

Возможно.

Это Каю не дано уставать. Он, Тавель, любит Кая за это. Хорошо бы увидеть Кая быстрее, это всегда придает сил. А еще это плохое освещение. Ширмы в пяти шагах смутны, не разглядишь рисунок, а он, Тавель, помнил Правое крыло Биологического Центра ярко освещенным, живым. Тогда он за тридцать шагов мог увидеть, в какую сторону повернута каждая голова дракона, написанного на ширме.

Нет, это не усталость, решил он. Доктор Сайх прав: устают только проигрывающие. А он, Тавель, умел не проигрывать. Сам Кай может подтвердить это. Он, Тавель, поднимался в небо и спускался под землю, сидел во главе праздничного стола и бывал там, где гибли любые смертные — для Кая! Именно так. Для Кая! Доктор Сайх учит: простое всегда просто. Животному достаточно пучка травы, куска мяса, растение обходится водой и светом. Человеку нужны слова кормчего. Человек наивен. Человек — брат дерева и животных. Нет, конечно, он, Тавель, знал, что тигр не столь уж наивен, но его всегда привлекала к себе волшебная простота мыслей доктора Сайха. Мысль всегда должна быть проста. Как вода. Как воздух.

Тавель обернулся.

Хлынов и Колон стояли ближе к главному входу, под мощной каменной аркой. Хлынов опирался рукой о ширму, из-за которой выглядывал ствол автомата. Колон курил, заноса что-то в блокнот, и Тавель медленно улыбнулся, растянув тонкие, вдруг онемевшие губы. Именно там, под аркой, где сейчас стояли журналисты, был убит высший офицер связи полковник Тхат. Он был личным другом Тавеля. Его ударили молотком в висок. Тхат проделал большой путь: от первых дней военного переворота до появления другого человека.

Тхат увидел все, что мог увидеть человек с сильной волей и большими желаниями. Тавель не жалел Тхата. Тхат увидел все, что мог. Все остальное было бы повторением.

Там, за аркой, вспомнил Тавель, там, где сейчас грудами свалены ржавые балки, где сквозь решетку лезут в зал кривые, как ножи, листья фьи, там раньше стояли тренажеры. Наверное, только он, Тавель, и помнит о них. Тхат убит. Сай умер. Ухеу забит мотыгами. Нинанг повешен. Может, он, Тавель, последний, кто помнит о тех тренажерах. Они ведь тоже стояли для Кая.

Для Кая!

Он отчетливо вспомнил холодок литой каучуковой рукояти, запах металла, теплого пластика, тревожное перемигивание контрольных ламп. Тренажер полностью имитировал условия воздушного боя, и, захлопнув фонарь, Тавель рывком поднял машину в воздух.

Разумеется, он оставался на земле, в Правом крыле Биологического Центра. Но он поднял машину в воздух, ощущение было идеальным.

Вспышки ламп, рев двигателей, облако, несущееся навстречу. Тавель раздул ноздри. Он знал: если машина Кая в воздухе, то она там, именно там, за этим подвижным облаком. Каю некуда скрыться. Он, Тавель, выиграет! Он помнил сладкое торжество победы, когда на ралли он обошел всех, когда впереди оставались только итальянец Маруччи и Кай. Он помнил это звездное ощущение, когда за спиной осталась горящая машина Маруччи и брошенная у бортика «Формула» Кая. Он, Тавель, упорный смертный, он вновь хотел выиграть. Ведь он преследователь, он вырвет победу у Кая!

Вводя машину в радиус разворота, чувствуя, как его вжимает в сиденье, он знал: он выиграет! Он — драйвер!

Стремительный силуэт перехватчика обозначился на экране чуть ниже расчетного места. Это была неожиданная удача. Тавель любил вкус удач. И когда этот

стремительный силуэт, переворачивающийся через левое крыло, попал в сетку коллиматорного прицела, Тавель завопил от полноты торжества. Доктор Сайх учит: побеждает лишь победитель. Доктор Сайх учит: история — это рассказ победителей. Он, Тавель, тогда, восемь лет назад, вовсе не думал, что будущие учебники будут пестреть только именем Кая. Тавель! — это звучало бы тоже неплохо.

Тавель!

Разумеется, это не другой, но он, Тавель, пока что единственный человек, сумевший повторить многие подвиги Кая. Если он не другой, то он все же первый, кто вершил для другого чудовищную черновую работу, он первый пахарь, подымавший саумские поля, он первый, кто удобрил эти поля самым ценным, самым жирным удобрением — человеческими телами. Он тот, чье имя всегда будет связано с именем Кая. Он опора другого, он его меч и щит.

Тавель вопил от полноты торжества, он жал на гашетку, он чувствовал, как снаряды рвут тушу перехватчика, и, когда неожиданный тяжелый удар сотряс машину, бросил Тавеля в кресло, он не сразу осознал, что случилось. Штурвал, как живой, рвался из рук, лампы контроля вырубались. Даже откинув фонарь, Тавель не хотел верить случившемуся, но Кай смеялся, по пояс высунувшись из кабины соседнего тренажера:

— Твою машину сорвало в штопор. Ты увлекся атакой, брат.

— Но я держал тебя на прицеле!

— Это тренажер, — смеялся Кай. — Это всего лишь тренажер. Будь это боевая машина, ты не нажал бы гашетку, брат!

## 2

Не нажал бы гашетку...

А офицерский корпус, выведенный на площадь Не-

бесной Семьи против королевских броневиков? А охота на хито, это самая великая чистка страны, готовившейся принять другого?

Не нажал бы гашетку...

Полковник Тхат, высший офицер связи, плосколицый и смуглый, резко выбросил перед собой руку, перехваченную выше локтя коричневой в клетку повязкой.

В бамбуковой хижине после ухода основного отряда оставалось семеро: Тавель, Тхат, еще один офицер из группы доставки, четверо рядовых. Лежа на циновке, задыхаясь от влажной духоты, Тавель прислушивался к вечному шуму леса — неопределенному, но великому, всегда наводящему на размышления. Доктор Сайх учит: мир стремится к тишине и к покою. Великие бури и всемирные потрясения — это всего лишь отдельные точки отсчета того пути, который приводит к покою. Истинно счастливый человек всегда полон покоя. Он счастлив потому, что он сам часть природы.

«Часть природы...»

Одними губами Тавель повторил известное суждение доктора Сайха. Но гордился он собственной мыслью. Своевременная и удачная мысль: повести отряд по следам Кая. Сегодня Кай здесь, завтра там. Кай никогда не возвращается на место, где уже побывал. Там, где побывал Кай, счастливы все, даже безумцы. Кай умеет возвращать надежду. Даже самые неисправимые хито, увидев Кая, впадают в транс. Даже самые тупые хито, увидев Кая, складывают оружие. Они сами выползают из своих тайных убежищ, они, не скрываясь, бредут по лесным дорогам. Случалось, они сами приходили в специальные поселения. При этом они знали: специальные поселения — это суровая школа. Впрочем, Сауми никогда не была не сурова к своим детям. Дети Сауми хорошо знали, что такое свирепые ураганы, обильные ливни, нашествия ядовитых насекомых, обширные наводнения, жестокие грозы. Хито, вредные элементы, отдавали себе отчет в том, что ожидает их в специальных поселе-

ниях. Но, увидев Кая, они уже не прятались в своих тайниках, они сами выходили навстречу солдатам. Доктор Сайх прав: человек, он как трава. Он должен расти, он должен впитывать солнечный свет, он должен с благодарностью принимать внимание Кая.

Не нажал бы гашетку...

Утирая пот со лба рукавом мундира, Тавель смотрел в проем распахнутой двери и видел широкую, затопленную безысходным солнцем поляну. В двух-трех местах ее покрывали кучи серого пепла. Трое солдат вели к хижине изловленного в лесу хито, пепел под их ногами дымился. Это солнечный жар прибил к траве москитов. Ссерый пепел — это и были москиты. Хито вели прямо по ним. Серый пепел дымился, но не поднимался выше щиколоток. Полковник Тхат рассмеялся:

— Хито опять расскажет нам о Кае.

Тавель кивнул. Почему нет? Хито расскажет. Подлунные существа приходят и уходят. Они уходят, не возвращаясь. Остается Кай. Он всегда остается. Даже если он уходит, он все равно остается. А еще он остается в детях, а потом будет оставаться в детях своих детей. А детей будет много: темная Тё не единственная жемчужина в ожерелье Кая. И уж, конечно, не последняя.

Он чувствовал ревность.

Что шепчет Кай Тё, оставаясь с ней наедине? Что говорит, что обещает? Впрочем, обещает ли? Разве само его присутствие — это не обещание?

Кай добр.

Кай чист.

Кай очищает одним своим присутствием, он смиряет безумие, он взглядом снимает боль.

Не нажал бы гашетку...

Тавель не боялся вечности. Вечность, какой бы она ни была, все-таки предполагает некий конечный ряд. Но — никогда! Этого слова он боялся. Оно не несло за собой надежды.

Он, Тавель Улам, он никогда больше не вернет свой испытанный офицерский корпус, самых верных своих людей, через год после военного переворота, совершенного, естественно, их руками, убитых мотыгами в казармах Хиттона по личному приказу доктора Сайха.

Он, Тавель Улам, он никогда больше не выведет своих людей на плацы Хиттона, потому что людей больше нет, как, собственно, нет и плацев. Есть мертвый город, убитый им, Тавелем. Есть Малый оркестр, как и нифанги с юга, укрытый им в Правом крыле Биологического Центра. Несколько четырехствольных флейт и гигантский гонг. Этот хорал звучит и сейчас как плач смерти — для хито, и как торжество — для него, для Тавеля.

Никогда!

Глядя на солдат, ведущих через поляну босого, полуобнаженного хито, Тавель вспомнил о Тё.

Как всегда, с ее именем вернулись к нему острый запах речного ила, сырых тростников, мерцающего в тумане песка.

Большая река.

Заводи и излучины.

Даже в воспоминаниях речная тишина была столь плотной и чистой, что Тавель невольно сжал зубы. Эта тишина была неотторжима от Тё, от ее мелких, семенящих шагов, от ее смеха, гаснущего в тумане. Тавель сразу и остро пожалел, что не взял Тё в свой дом сразу после военного переворота или не вывез ее в броневике куда-нибудь в пригород, где в казармах стояли части его корпуса. Он остро пожалел, что не втащил Тё в серо-зеленый броневик, пропахший гарью и пороховым дымом, не заставил ее силой стаскивать со своих ног тяжелые башмаки, не заставил ее рыдать...

Не нажал бы гашетку!

Тавель и сейчас помнил отмель Большой реки и туман, столь невесомый, столь легкий, что казалось, он уже не висит, а просто парит над землей, в некоем своем пространстве, лишенном форм и контуров. Этот ту-

ман был настолько нежен, что он вовсе уже не разделял мир на тьму и свет, на отчаяние и надежду, и, прикрыв ладонью слезящиеся от дыма костров глаза, Тавель внимательно всматривался в нежную белизну.

Туман был так легок, так невесом, так легко и невесомо тянулись одна за другой его молочные струйки, что такими же легкими и невесомыми казались бесконечные, обрывающиеся над водой леса. Прозрачные в своей невыразимой утренней голубизне, они, как воскурениями, были одеты рассеянной в воздухе влагой, и в таких же воскурениях тонула, меркла река, по которой, как по звездной млечности, легко и бесшумно скользил челн, сам невесомый от того, что над ним возвышались легкие фигуры Кая и Тё.

Не нажал бы гашетку...

Оглушенный, раздавленный этим видением — Кай и Тё, они уплывали в будущее! — уничтоженный чувством собственного бессилия — они уплывали в будущее без него! — Тавель застыл у самой кромки воды. Струи ее шелестели среди лобастых валунов, но были прозрачны, светлы, как светла была ночь под Йочжу, где в лесовых пещерах офицеры Тхата обнаружили тайный лагерь хито. Горели кусты, горели деревянные повозки, и, как там, на Большой реке, стлался белый туман. Правда, здесь, под Йочжу, он не восхищал, он даже мешал, снижая точность прицела. Исправляя упущенное, Тавель приказал пустить в ход огнеметы. Туман сразу порозовел, крики сгорающих заживо хито звучали в нем мягко и страшно.

Не нажал бы гашетку...

Пойманного хито наконец втолкнули в хижину.

Он был полураздет, бос, маленький подбородок оброс неопрятной бородкой, слезящиеся глаза шурились, но темное плечо явно было натерто ремнем винтовки.

Хито молча смотрел на Тавеля.

Он не испытывал страха.

Он явно был из тех, кто уже повидал Кая. В самом

его ожидании чувствовалась великая отрешенность. Веки тяжело опали. Возможно, этот мир уже не существовал для него, возможно, большей частью своей души он был уже в том, в ином мире, куда никто не мог его сопровождать — ни друзья, ни враги, где он наконец не зависел даже от Тавеля, от своего упорного преследователя, где начинался уже совсем иной, не измеримый ничем покой, совсем не похожий на тот покой, что был обещан саумцам доктором Сайхом.

— Ты видел Кая, — негромко сказал Тавель, утирая рукавом мундира пот, катящийся по лбу. — Ты видел его совсем близко, вот как меня. Это было неделю назад, под Нассангом. Я прав?

Хито казался совсем равнодушным, но имя другого странным образом зажгло его глаза лихорадочным блеском.

— Я видел Кая, — сказал он. — Я видел его совсем близко. Это было там, под Нассангом, благословенны его пески.

— Я тоже был там, — засмеялся полковник Тхат. Он был из тех людей, которым нравится демонстрировать свою осведомленность. — Мы обнаружили засаду хито, когда Кай купался в реке. Кай не боится водяных змей, они почему-то не трогают Кая, но хито держали Кая на прицеле. Мы в упор расстреливали хито, мы зашли к ним со спины, но они не обращали на нас внимания. Они держали Кая на прицеле, но никто из них не стрелял, они молчали и смотрели на Кая, как люди, одурманенные настойками нифангов. Некоторых мы оставили в живых и повели к Каю. Мы спросили Кая, что нам делать с этими вредными элементами, ведь они хотели Кая убить. Кай каждому из них заглянул в глаза, он не сердился и сказал нам: не стреляйте в них! — Тхат засмеялся и посмотрел на Тавеля. — Мы не могли послушаться Кая, он — другой! Потом, когда Кай ушел, мы убили хито ножами.

— Сколько вас было под Нассангом?



Хито равнодушно показал обе руки с растопыренными пальцами. Один палец был отрублен, но рана уже затянулась бледной пленкой.

— Вы убили не всех, — сказал Тавель сразу замолчавшему Тхату.

И спросил хито:

— Почему вы ушли из специальных поселений? Почему вы прятались в лесах?

— Мы хотели быть вместе, — равнодушно ответил хито.

— Разве в спецпоселениях вы были не вместе?

— Неволя разъединяет.

— Как ты уцелел под Нассангом?

— Я сумел убежать.

— Почему ты убежал? Почему ты не захотел навсегда остаться вместе с теми, с кем хотел быть вместе?

— Я хотел еще раз увидеть Кая.

— Но ты видел его! Там, под Нассангом.

— Там я видел его сквозь рамку прицела. Он это почувствовал. Он обернулся. Мы не стали стрелять.

— Почему?

— Мы увидели его глаза. Кай, он не такой, как вы. Кай, он не похож на нас. Он совсем другой. Я знаю женщину, она понесла от Кая. Ее ребенок, он тоже другой.

— Ты пришел убить Кая! — резко возразил Тавель. — Там, под Нассангом, вам это не удалось. Теперь ты пришел сюда убить Кая.

— Кая нельзя убить, — философски заметил хито. — Убить можно меня, убить можно вас, убить можно зверя.

— Он что, бессмертен — Кай? — вкрадчиво спросил Тавель.

— Кай не бессмертен, — глаза хито вновь вспыхнули. — Если мы будем его просить, он умрет.

— Вот как? — удивился Тавель. И заподозрил: — Ты грамотен?

— Я читал курс современной философии. В университете Хиттона, — равнодушно ответил хито. — Это было давно.

— А сейчас? — вкрадчиво спросил Тавель. Его душили духота и раздражение. — Сейчас ты читаешь философию хито?

— Я стараюсь открыть глаза невидящим.

— При чем же тут Кай?

— Кай и истина — это одно и то же.

— А там, под Нассангом?.. Я понимаю, почему не стрелял ты. Знание всегда расхолаживает... Но с тобой были другие хито. Почему они не стреляли?

— Они видели: Кай, он как ребенок. Он ни на кого не похож. Он совсем другой. Его существование — залог нашей жизни.

— Вот как? — опять удивился Тавель. — И ты пришел сюда, чтобы увидеть Кая?

— Я считал: Кай, он здесь.

— Ты знаешь, что мы уьем тебя?

— Любовь — это всегда самоуничтожение.

— Но если любовь — это всегда самоуничтожение, — медленно спросил Тавель, утирая лоб рукавом мундира, — то зачем тебе такая любовь? Зачем она другим хито?

Пленник равнодушно опустил набрякшие веки:

— Когда душа утишается, а это происходит при смерти, она находит наконец то, что мы напрасно ищем при жизни: себя! Умиравший в Кае вечен.

— Можно, я ударю его? — спросил полковник Тхат. Он ничего не понял.

— Нельзя.

В хижине воцарилось молчание. Хито, вялый и равнодушный, так и сидел на корточках у порога.

— Если у тебя окажется пистолет, — медленно говорил Тавель, стараясь, чтобы до хито дошло каждое слово, — и если перед тобой окажется Кай, вот так, рядом, и если ты будешь знать, что в твоих силах

одним-единственным выстрелом освободить всех до одного хито из специальных поселений, спасти их от голода, от болезней, от смерти, наконец... ты выстрелишь?

— Да, — сказал хито. — В себя.

— Хорошо, — удовлетворенно заметил Тавель. И сказал полковнику Тхату: — Возьми этого философа.

Полковник Тхат крикнул:

— Уведите хито!

Они посидели немного в тишине. В стороне топали, перекликались солдаты. Выстрелов не было, патроны следовало беречь. Выстрела они не слышали.

— Зачем они ищут Кая? Если любовь убивает, зачем они тянутся к нему?

— Они в отчаянии, — засмеялся полковник Тхат. — Они видят их и нашу несоизмеримость. Это приводит их в самое настоящее отчаяние.

Тавель покачал головой:

— Если бы мы имели дело с одиночками. Если бы такие, как этот философ, появлялись раз или два в году...

— Да, они появляются гораздо чаще. Я встречал таких в Олунго, в Уеа, в Сейхо, — охотно перечислил полковник Тхат. — Я встречал их везде, где хотя бы на час появлялся Кай. В принципе нам совсем незачем лазать по джунглям, подвергаясь различным опасностям, разыскивать следы хито. Достаточно неторопливо вести след за Каем отряд автоматчиков. Увидев Кая, хито уже не оказывают сопротивления. Постепенно мы убьем всех.

— На Севере тоже?

— Это мог бы объяснить Сай.

— Почему «мог бы»?

— Сай срочно вызван в Ставку.

— А Теу? Он ведь тоже с Севера.

— Теу срочно вызван в Ставку.

Тавель быстро взглянул на Тхата:

— Что там еще придумал генерал Тханг? Вовсе не обязательно держать лучших людей при Ставке.

— Приказ подписан не генералом Тхангом.

Тавель вопросительно поднял брови.

— Приказ подписал доктор Сайх.

— Вот как? Новые политические задачи? Это всегда интересно! Тебе не кажется, Тхат, что нам следует поспешить, что нам тоже следует находиться сейчас при Ставке?

— Я думал об этом, — осторожно заметил полковник.

Именно он навел Тавеля на конкретную мысль, но ему вовсе не хотелось выглядеть инициатором.

— В Ставке вы увидите с доктором Сайхом. Поговорите с ним. Если будет организована поездка Кая по Северу, я лично берусь вести за ним автоматчиков. Пусть Кай пройдет по Большой реке, пусть он заглянет в провинцию. Мне хватит месяца, чтобы очистить Север от хито.

### 3

Не нажал бы гашетку...

Он нажимал ее много раз. Просто пули не всегда достигали цели.

Площадь перед длинным и низким зданием военной Ставки была перекрыта армейскими патрулями. Вились дымки костров — солдаты обедали. Горсточка риса — этого достаточно, чтобы сохранить форму. Тавель с презрением разглядывал худые фигурки, ничем не походившие на его людей. Офицерский корпус Тавеля никогда не сидел на диете. Где они, кстати? Тавеля неприятно удивило отсутствие офицеров на территории Ставки, но в кабинет доктора Сайха он вошел твердой походкой человека, за спиной которого стоит самая активная, самая боевая часть военной машины.

«Мотыльки, летящие на огонь... — Тавель все еще

обдумывал неявное предложение полковника Тхата. — Хито, вредные элементы, летят на свет Кая, как мотыльки на огонь. И так же сжигают крылья. И теперь я знаю огонь, в котором они могут сгореть все целиком. Любовь? Что ж. Дело не в терминах. Они могут называть это и так. Самоуничтожение? Почему бы и нет? Мне все равно, какой костер, любви или ненависти, спалит им крылья. Главное, чтобы он их спалил. Офицерский корпус завершит великое дело. Я сожгу всех хито в Кае. В конце концов, это тоже — для Кая».

В огромном кабинете доктора Сайха, все еще наполовину занятом гигантскими витринами, за стеклом которых грозно темнели скелеты хищных ископаемых тварей, густой цепочкой стояли вдоль стен крепкие низкорослые новобранцы из провинции Линг, родины доктора Сайха. На желтой циновке восседал сам доктор Сайх, похожий на внезапно похудевшего Будду. Рядом с ним стояли генерал Тханг, полковник Ухеу и несколько членов Ставки.

— «Офицерский корпус, возглавляемый цаном Тавелем Уламом, — монотонно, без выражения, без проявления каких-либо личных чувств, зачитал приказ полковник Ухеу, — с честью выполнил все возложенные на него политические и военные задачи. Хито, угрожавшие порядку в стране, частично уничтожены, частично оттеснены глубоко в джунгли; жители специальных поселений с энтузиазмом и высоким душевным подъемом предаются делу перевоспитания...»

— «Исходя из... Считать задачу офицерского корпуса полностью выполненной...»

— «Исходя из... Корпус расформировать...»

Ухеу монотонно бубнил.

Похоже, он бубнил приказ наизусть, не заглядывая в развернутый перед ним лист рисовой бумаги, — в кабинете доктора Сайха вдруг стало совсем темно.

Присевшая на гигантские кости тварь, на фоне которой сидел доктор Сайх, менее всего напоминала живот-

ное, пусть и ископаемое. Скорее инженерная конструкция, покрытая густой пылью, некий неудавшийся макет башенного крана. Но Тавель не видел ни витрин, ни самого доктора Сайха. В очередной раз он выполнил весьма нелегкое задание Ставки, и в очередной раз у него вывалили из рук оружие, выкованное им самим.

«Разумная предосторожность...» — оценил он действия Ставки, но желвак на его левой скуле вдруг запрыгал. Победа, полная победа, вновь ушла от него. Результаты победы сыграли не на него.

— А Кай? — спросил он. — Знает Кай о расформировании офицерского корпуса?

Ответил генерал Тханг. Он улыбнулся:

— Знания Кая обширны.

«Но если ты знаешь все? Если ты чувствуешь спиной восхищенные взгляды хито, если ты слышишь за спиной хруст переламываемых мотыгами костей, если ты не можешь не знать о гибели лучших людей, давших дорогу идеям доктора Сайха, если ты впрямь чувствуешь все, если ты впрямь все понимаешь, если ты не можешь не сочувствовать каждому, почему же твои помыслы направлены против меня, брат?»

Выйдя на площадь, Тавель Улам взобрался на армейский броневик и рукояткой пистолета оглушил водителя — крепкого плечистого новобранца из провинции Линг. Водители и стрелки соседних броневиков молча смотрели на Тавеля, ничего против него не предпринимая, — они знали, что перед ними Тавель, они знали, что жизнь Тавеля Улама никак не должна пересекаться впрямую с их жизнями, на то был строгий приказ, доведенный до сведения самого тупого новобранца.

На углу пустого проспекта, заваленного бумагами, ломаной мебелью, разбитыми холодильниками, бесконечными завитушками изодранной магнитофонной ленты, среди курганов перебитой посуды и древнего фаянса, которым славилась когда-то Сауми, Тавель увидел Садала.

Отрепья, из которых торчала длинная голова в перепутанных грязных космах. Чужая темная курточка.

Человек-дерево.

Может быть, единственный официальный обитатель Хиттона.

Вдохновленный легкой победой над новобранцами, Тавель одним рывком втащил Садала в откинутый люк броневика. Теперь это был весь его корпус. «Если ты выше всех, — не уставал заклинять Тавель, — если ты лучше всех, если ты чище всех, если ты всех добрее, если тебе суждено читать в глазах самых ограниченных тварей, если ты родная кровь, плоть от моей плоти, — почему твои удары падают на меня, брат?»

Он гнал броневик по пустынным улицам, он расстреливал из орудия сохранившиеся часовенки. Каждую минуту он ждал выстрела из базуки. Он не сомневался, что, уничтожив офицерский корпус, доктор Сайх может отдать и такой приказ.

Но базука не выстрелила.

Броневик с грохотом вылетал прямо на костры военных патрулей, но ни одного солдата Тавель так и не увидел. Они разбегались, едва лишь вдали раздавался рев двигателя.

Лишь вечером, прочно посадив броневик в канаву, Тавель выволок из-под брони полузадохнувшегося от тряски и газов Садала, извлек из-под разогретой стальной раковины этого тщедушного моллюска. Они завалили изнутри дверь какой-то лавки, и Тавель вытащил из подвала корзину с южными винами. Напротив лавки пылал подожженный ими храм, пламя пожара дико поблескивало в расширенных зрачках Тавеля.

Солдаты, прячущиеся за обломками, не пытались гасить огонь. Их глаза были обращены не на горящий храм, они смотрели на багрово отсвечивающую осколками стекла витрину лавчонки, в которой засели Тавель и его явно сумасшедший спутник. Солдаты боялись не великого Арьябалло, потерявшего еще один храм, они

боялись не прогнувшихся от жара небес Сауми, — с пустым, бездумным ужасом в диковатых, раскосых глазах они пытались рассмотреть за багровыми отблесками витрины Тавеля — упорного смертного.

Но не видели его.

Слышали проклятия, слышали выстрелы. И успокоился Тавель лишь на рассвете, когда у руин догорающего, обрушившегося храма появился сам Кай, пришедший утешить брата.

#### 4

Не нажал бы гашетку...

Разве не он, Тавель, тайком оставлял оружие в брошенных, пустых поселках Юга? Разве не он, Тавель, тайком переправлял патроны через бурные горные реки и снежные перевалы Ратонга, и на извилистое побережье Йокару, и на остров Чау — туда, где действовали самые активные отряды хито? Разве это не он ни словом не обмолвился о минах, дважды обнаруженных на прогулочных дорожках Кая? Разве, наконец, не его рука опустила пистолет в карман изодранной курточки Садала?

«Если ты единственный, если ты самый чистый, — заклинал Тавель, молил Тавель, — вырви меня из болота, отними все, но верни спокойствие, которого я так давно лишен. Если ты самый мудрый, если ты способен на истинно человеческое решение — заметь меня! Я же рядом, я один, я лишен опоры, мне не с кем разделить беседу, не с кем преломить хлеб, я никого не люблю. Убей меня, как я убивал хито, сожги меня, как я сжигал целые деревни, — заметь меня! Если ты все видишь, если ты все чувствуешь, если тебе открыт любой человек, ты же должен видеть мое отчаяние, ты же должен понимать, что я твоя будущая смерть, — заметь меня!»



Как хорошо ни настаивали свои травы нифанги с юга, щека Тавеля не переставала дергаться.

Где Кай?

Тавель ждал Кая.

Он уже не смотрел на журналистов, они его сейчас не интересовали. Он хотел видеть Кая. С раздражением, нетерпеливо, он выбросил перед собой руку, приветствуя генерала Тханга. Пусть он побыстрее освобождает нишу, этот грузный боров с изрытым оспой лицом, поросший неопрятными бородавками, этот грузный боров, столько раз отнимавший у него победу; пусть шмыгнет во тьму и путаницу ширм эта крошечная крыса Су Вин, хищная и хитрая крыса; пусть растает в теновом круге хрупкая Тё, как всегда, притягивающая, но, как всегда, не приносящая успокоения.

Где Кай?

Тавель забыл даже о Садале, курточку которого оттягивал пистолет. Что Садал? Завтрашний хито, завтрашний вредный элемент. Разве не хито так цинично пускают в ход подброшенное им оружие?

Но машинально, краем глаза Тавель видел Садала.

Сгорбившись, спрятав руки в карманы курточки, не смахивая с глаз жирных волос, перекрывших весь лоб, Садал медленно, как во сне или как в воде, брел среди ширм, задевая равнодушных солдат, устроившихся за этими ширмами. Он медленно брел туда, к темной нише, перед которой валялся поверженный Будда.

Переступит он через Будду?

«Если и захочет, не сможет, — подумал Тавель. — Он ведь уже разучился поднимать ноги».

Тавель задыхался от ненависти.

Хито — это враги. Хито — это исконные враги. Хито предают истинное. Хито следует обуздать. Хито предают извечное. Хито следует уничтожить. Доктор Сайх прав: ни хито, ни остальным, им нет места в будущем!

Заметь меня!

Тавель смотрел на Кая.

Он молил: заметь меня! — и видел, что Садал уже рядом с Каем. Он молил: заметь меня! — и с ужасом думал: может, уже сегодня он наконец опять вырвет победу у Кая.

Но он никогда не думал, что боль может быть столь невыносимой, если мишень не ты сам. Он никогда не думал, что он может за несколько секунд до выстрела броситься к Каю, бить кулаками солдат, мгновенно вырванных перед ним, и кричать, задыхаясь:

— Не я, брат! Это не я!

### III

Стенограмма пресс-конференции,  
Сауми. Биологический Центр

#### Н. ХЛЫНОВ:

Цан Улам, разве мы, люди разумные, не стремимся по мере сил сделать нашу жизнь лучше, разве мы не способны в определенный момент пожертвовать собственной жизнью ради торжества справедливости? Чем, собственно, вызван ваш столь пессимистический взгляд на современного человека?

Доктор УЛАМ (улыбается):

Доктор Сайх учит: истинно лишь истинное! Пятьдесят процентов патологии, присущей современному человеку, обусловлено нарушениями в структуре и функциях наследственного аппарата. Практически каждый человек является обладателем пяти-девяти потенциально вредных генов, передающихся потомству вместе с генами, контролирующими нормальные признаки. По самым скромным подсчетам, из-за генетических нарушений одно из ста двадцати зачатий прерывается уже в первые дни, из каждых сорока новорожденных один появляется на свет мертвым. Наконец, в соответствии с имеющимися достаточно серьезными подсчетами каждые пять из ста новорожденных имеют те или иные генетические

дефекты, связанные либо с мутациями хромосом, либо с мутациями генов. Ничто не указывает на естественное улучшение нашей породы. Конечно, всем нам трудно свыкнуться с такой простой мыслью, но мы уже сейчас должны начать привыкать к ней: будущее не для нас, оно для Кая. Он, другой человек, не нуждается ни в хито, ни в остальных.

Д. КОЛОН (резко):

А вы? Вы сами нуждаетесь в людях?

Доктор УЛАМ:

Не имеет значения.

Д. КОЛОН:

Но он же одинок, этот ваш Кай!

Доктор УЛАМ (улыбается):

Доктор Сайх учит: земля кормит людей, но земля кормит не всех людей. Земля кормит друзей Кая. Единственные временно необходимые люди — это друзья Кая. Доктор Сайх учит: от остального до хито — один шаг. Ни хито, ни остальным нет места в будущем. Что же касается одиночества, Кай любит детей. У него будет много детей. У его детей тоже будут дети. Кай — другой человек, и все дети его тоже будут другие.

Н. ХЛЫНОВ:

Но они ассимилируются, цан Улам. Их кровь растворится в крови многих и многих миллионов ничем не выдающихся и не очень крепких здоровьем представителей человечества.

Доктор УЛАМ (улыбается):

Существуют парадоксы, суть которых я не намерен обсуждать.

Н. ХЛЫНОВ (настойчиво):

Я повторяю уже заданный вопрос, цан Улам: есть ли у другого враги?

Доктор УЛАМ (улыбается):

Не имеет значения. У Кая есть друзья. Это важнее. Кай говорит: я понимаю людей. Кай говорит: я чувствую

вую ближних. Вряд ли кто-то из нас может говорить подобное с тою же уверенностью.

Н. ХЛЫНОВ:

Цан Улам, по рассказам беженцев из Сауми, внутренние дела вашей страны находятся в полном упадке. Промышленность разрушена, сельское хозяйство отброшено во времена самых примитивных методов. Возможно, современные люди и впрямь могут обходиться без электроэнергии, без искусственных материалов, без инструментов, без точных приборов, но как может обойтись без всего этого крупный научный центр? Отсюда вопрос: кто и как снабжает Биологический Центр всем необходимым?

Доктор УЛАМ:

Великие результаты всегда являются итогом великой подготовки. Специальная группа при военной Ставке Сауми в любое время готова обеспечить Биологический Центр всем необходимым.

Д. КОЛОН:

Кто возглавляет эту специальную группу?

Доктор УЛАМ:

Генерал Тханг.

Н. ХЛЫНОВ:

Означает ли это, что работу Биологического Центра курируют именно военные?

Доктор УЛАМ:

Не имеет значения.

Н. ХЛЫНОВ (настойчиво):

Означает ли это, что Биологический Центр будет существовать и тогда, когда в Сауми не останется вообще ни одного инструмента, ни одной вещи, сработанной руками человека, когда все хито будут наконец распределены по специальным поселениям, а Кай Улам, другой человек, не будет больше нуждаться ни в повторных операциях, ни в определенном контроле?

Доктор УЛАМ (улыбается):

Доктор Сайх учит: все сущее начинается с одной

точки, с одного толчка, с одной идеи, с одного человека. Доктор Сайх учит: не важен лишь тот путь, который уже пройден. В свое время мы действительно не могли обойтись без Биологического Центра, мы закрывали глаза даже на то, что он сам по себе является очагом возникновения новых хито, но вот настал час, можно назвать его нулевым, и мы можем твердо сказать: Биологический Центр. Нужен ли он нам? Не имеет никакого значения!

Д. КОЛОН:

Что же дальше, цан Улам?

Доктор УЛАМ:

Если вы желаете повторений, я повторюсь. Ни хито, ни остальным нет места в будущем. Будущее принадлежит другому. Современный человек, как вид, обязан уйти. И он, конечно, уйдет.

Д. КОЛОН (раздраженно):

Когда же это случится?

Доктор УЛАМ:

Через сто лет или через тысячу, это не имеет значения.

## ГЕНЕРАЛ ТХАНГ: НУЛЕВОЙ ЧАС

### 1

Полумрак напоминал генералу Тхангу о близкой ночи. А ночь — это сны.

Чаще всего генералу снился один и тот же участок острова Ниску — оплавленная до стеклянного глянца базальтовая долина, мертвые скалы, спекшийся песок. В отдалении начиналась горная цепь, отроги ее выглядели временем, они походили на бронзовое литье: тяжелые, отполированные, цельные массивные формы, перед которыми шербата скалились останцы, похожие на съеденные кариесом зубы. Если ближе к морю, в трещинах скального массива бактериологи еще находили

микроскопические нити вездесущих сине-зеленых водорослей, то сам остров был мертв.

Генералу Тхангу приходилось видеть пустыни, рожденные ударами бомб, — язвы воронок со скопившейся в них гнилой водой, голую щетку раздавленного взрывами леса, но тут, на Ниску, не осталось никакой органики, все, что могло сгореть, все, что могло быть убито, было убито или сгорело.

В темном сне, лежа за обломком камня, едва поднимавшимся над спекшимися песками, генерал Тханг с тупым животным ужасом вслушивался в низкий гул идущих над островом самолетов.

Один... Другой... Третий...

Генерал Тханг знал: хватило бы и одного.

Генерал Тханг знал: еще секунда, и вспышка, затмевающая собою солнце, убьет каждую тень, разложит воздух на атомы.

А гул самолетов нарастал, он заполнял всю атмосферу, он болезненно пульсировал в мозгу, он затоплял небосвод — ясный, безоблачный. Генерал Тханг напрасно пытался вжаться в песок, обратиться в тень — поздно! И, уходя от мертвого ужаса, от этой страшной предопределенности, перед которой ничто уже не имело значения, он пытался закричать, захрипеть, разжать сведенные судорогой челюсти, — проснуться.

Проснуться, смахнуть с лица едкий, как кислота, пот, дотянуться рукой до чашки с настоем, приготовленным нифангами.

Он просыпался и долго лежал во тьме, не зажигая светильника. Приемник, один из немногих оставшихся в Сауми, стоял рядом. Можно было нажать на клавишу, слабо освещалась панель, темную комнату заполняли чужие голоса, множество голосов, перебивающих друг друга. Массовые китайские хоры, полные энтузиазма, вкрадчивые проповеди ватиканских служителей, уверенные скандинавские гимны. Лондон на специальном английском увещевал развивающиеся страны, ал-

банцы оспаривали правомерность всех систем, Люксембург дарил музыку всему миру.

Генерал медленно приходил в себя.

Доктор Сайх учит: самая большая буря — это всего лишь первая фаза будущего покоя. Он, генерал Тханг, давно понял прелесть покоя. Может, еще раньше той кровавой бойни, что последовала в стране сразу после военного переворота, может, еще раньше возвращения в страну доктора Сайха. Генерал Тханг понял прелесть покоя, выжигая огнеметами королевских стрелков из древних каменных храмов, командуя массовыми расстрелами сперва на площадях Хиттона, потом у бесконечных огромных рвов, вырытых за Южными воротами. Доктор Сайх прав: смерть не дает права выбора. Право выбора человеку дает жизнь.

Всматриваясь в полумрак Правого крыла, генерал Тханг усмехнулся. Покой и тишина даруются победителю. Он, как никто, знает победителя. Он знает даже больше. Он знает, как пришла победа к победителю.

В его памяти до мельчайших деталей сохранился тот день, когда ему удалось вдруг уговорить доктора Улама хоть на час покинуть свою лабораторию, теснившуюся в подвалах бывшего королевского Медицинского центра.

Они встретились в хиттонском зоопарке.

Тогда это было людное место.

Доктор Улам не любил людных мест. Он увлек генерала в глубину зоопарка и остановился только у металлической клетки, в которой раздраженно покачивал огромной головой вывезенный из Канады медведь-гризли.

Доктор Улам с преувеличенным интересом рассматривал хищника.

Генерала это не смутило.

Гризли, толпа, зоопарк... Через месяц все это должно рухнуть...

Стоило доктору Уламу заметить, что гризли напо-

минает ему одну из тех ископаемых допотопных тварей, которыми долго занимался доктор Сайх, генерал сразу перевел разговор в нужное для него русло. Работы доктора Сайха, посвященные ископаемым, конечно, интересны, но они уже в прошлом, сейчас доктору Сайху не до них. С некоторых пор острый ум доктора Сайха обращен не к ископаемым, а к человеку. Доктор Сайх стремится к тому, чтобы и острый ум доктора Улама работал в правильном направлении.

Улам настороженно поднял голову.

Люди доктора Сайха, преданные и верные люди, давно заняли ключевые позиции в провинции и в столице. Они ждут лишь сигнала. Через месяц, генерал Тханг уверенно улыбнулся, вы сможете получить в свои руки все медицинские и биологические станции и центры Сауми, вы сможете, если понадобится, объединить их в один центр. Вы получите все необходимое для завершения работ, столь интересующих будущую Ставку и лично доктора Сайха. Доктор Сайх торопится. Он понимает, как вам трудно в нынешних условиях. Он специально ускоряет процесс возрождения Сауми. Доктор Сайх, как никто, понимает: мальчик растет!

Доктор Улам молчал. Он смотрел на гризли.

Хищник был огромен. Он вызвал панику среди сгрудившихся у клетки монахов. Он запустил лапу между прутьев решетки, он почти дотянулся лапой до висячего замка. Один удар — и зверь на свободе! Но, помстав головой, гризли втянул лапу обратно в клетку.

«Он напоминает мне вас, — генерал Тханг поднял на Улама свои пронизательные, далеко не всегда холодные глаза. — Сделать решающий ход всегда непросто. — Казалось, генерал и впрямь имеет в виду гризли. — Столь глубокие прозрения и столь удивительная нерешительность!»

Через месяц после военного переворота все части офицерского корпуса, главная опора Ставки, были переданы Тавелю Уламу, превосходно показавшему себя в



дни переворота, в дни решающих уличных боев. Это сразу высвободило время генералу Тхангу. Занимаясь Биологическим Центром, он, впрочем, не оставался в стороне от насущных политических и хозяйственных дел. Сауми не может обойтись без ввоза иностранных товаров? Ввоз иностранных товаров ставит Сауми в зависимость от торговых партнеров? Обязать цана Су Вина. Биологический Центр на Сауми. Биологический Центр не должен страдать от недопонимания момента некоторыми, пусть и неплохо проявившими себя, руководителями... Биологический Центр срочно нуждается в электроэнергии? Доктору Уламу не хватает современной аппаратуры? Срочно договоритесь с французами. У них есть конкуренты? Еще лучше. Через три месяца Биологический Центр должен получить энергию и аппаратуру... В стычках с хито на ночных улицах убиты два иностранца и член Ставки, работавший с доктором Сайхом еще до эмиграции? Разве это не наилучший предлог для разворачивания операции «Исход», направленной против хито? Через пару месяцев в Хиттоне не должно остаться ни одного вредного элемента... Доктор Улам срочно нуждается в живом материале? В чем дело? Возьмите охотников, зверья в джунглях хватит. Ах, живой материал — это люди! А разве нет хито? Ах, они слишком истощены? А врачи, педагоги, юристы, писатели? Разве их трудно объявить вредными элементами?.. Приграничные страны требуют от Сауми определенных гарантий безопасности? ООН встревожена слухами о нарушениях прав человека в Сауми? Организуйте представительную комиссию, провезите ее по специально оборудованным поселкам Северной зоны. Там есть что показать... Одна из держав заинтересована в будущем сотрудничестве? Их интересуют заброшенные урановые рудники? А нас интересует новейшее вооружение...

Обещайте! Обещайте! Обещайте!

Ведь мальчик растет.

Если быть точнее, чувство покоя генерал Тханг испытал позже. Когда закрыли границы. Когда выдворили всех иностранцев. Когда Хиттон замер, раскрыв в небеса свои немые и битые витрины и стекла. Когда по дорогам потянулись бесконечные колонны разутых переселенцев. Новый путь доктора Сайха стопроцентно совпадал с новыми взглядами доктора Улама, добившегося несомненных результатов.

Мальчик вырос.

Кое-кто еще считал, что закрытие границ — мера вынужденная и временная, кое-кто еще считал, что военная Ставка Сауми всерьез заинтересовалась ядерными устройствами, кое-кто еще считал, что Сауми непременно найдет себя в союзе с влиятельными державами. На самом деле все это уже не имело никакого значения.

Мальчик вырос.

Полагаться следовало лишь на себя. Победитель не зависит от врагов или друзей. Импорт? Кредиты? Международная помощь?

Не имеет значения.

Доктор Сайх учит: истории верить нельзя. Слишком дорогой ценой заплатило человечество за пренебрежение к людям, подобным доктору Уламу, к людям, которые, ни на что не обращая внимания, упорно резали хвосты мышам, пиликали в час досуга на скрипках, подсчитывали горошинки в стручках, десятилетиями возились с самым болтливым биологическим объектом — мушками-дрозофилами.

Пожары? Хито? Пустая страна? Не имеет значения.

Пожаров будет еще больше. Сауми еще долго не увидит солнца, закутанного в поднимающийся в небо дым. Хито еще долго будут тревожить провинциальные гарнизоны, пугая тех, кто еще не осознал перемен.

Мальчик вырос.

Он с нами.

Он — другой.

Генерал Тханг шел на шаг впереди Кая.

Сумрак уже не пугал генерала, он вновь чувствовал торжество. Эти два журналиста, застывшие возле ширм, — они сомневаются? Но то, что говорил им доктор Улам, не нуждается ни в подтверждении, ни даже просто в доверии. Это всего лишь факт, не знающим Кая трудно понять, что нулевой час уже пробил, что отсчет новой эры начат и ничего уже нельзя ни изменить, ни даже замедлить.

Доктор Сайх учит: побеждает не меч, побеждает не бомба, побеждает не техника. Доктор Сайх учит: всегда и везде побеждают дети.

Впрочем, доктор Сайх тоже не всегда был в этом уверен.

А он, генерал Тханг? Сколько раз ощущение великой победы, это чудесное ощущение, полное музыки и торжества, оставляло его, генерала Тханга?

Кай, шествующий сквозь буйствующую толпу, склоняет толпу к смирению... Но надо было столкнуть Кая с действительно буйствующей толпой! Надо было выявить в специальных поселениях самых упорных, самых враждебно настроенных хито, надо было со всей тщательностью контролировать тот момент, за которым начинается ничто.

Зато миг торжества сладок.

Теперь все знают: Кай — другой. Но надо было тщательно подготовить машину этого итальянца, так, чтобы она взорвалась ни секундой раньше, ни секундой позже. Остальное сделал сам итальянец. Ведь он же понял: Кай добр, Кай чист, Кай — настоящий парень!

Тысячи игр. Опасных и сложных. Игр, бросающих Кая в самое пекло. Игр, из которых только он мог выйти победителем. Игр, в которых надорвался Тавель — упорный смертный, в которые мог играть только другой.

А остров Ниску?

А эти чужие бледнокожие офицеры, всегда вежливые, но с презрительной усмешкой в уголке глаз?

Сауми ищет надежных друзей и партнеров — это они так думали. Сауми мечтает дружить с великим соседом — это они так думали. Сауми — великолепный рынок, куда можно сбывать любое дерьмо! Они даже готовы защищать Сауми от любых внешних врагов, в самое ближайшее время военная Ставка Сауми убедится в замечательной эффективности устройств, способных затмевать само Солнце. Наверное, это поможет Сауми сделать правильный выбор. Чужие офицеры всегда были вежливы, но их выдавала презрительная усмешка в уголках губ и глаз. В своем ослеплении они забывали о том, что их замечательно эффективные устройства всего только убивают. Но генерал Тханг не скупился на похвалу, он не скупился на обещания. Он торговался, он даже требовал, он шел на уступки, а в Сауми отряды Тавеля уже довершали истребление национальных кадров, имеющих хоть отдаленное отношение к подобным устройствам.

Слова есть слова.

Если Сауми и получит подобные устройства, контроль над ними все равно будет принадлежать чужим бледнокожим офицерам.

Главное, выиграть время.

Мальчик растет.

Главное, выиграть время.

Генерал Тханг не замечал презрительных усмешек. Его надеждой был Кай. Ради другого можно было не замечать многого.

Все тогда зависело от Кая.

Бледнокожие офицеры вежливо улыбались. Да, они получили разрешение, они продемонстрируют Ставке свою мощь, люди генерала Тханга будут присутствовать при испытании одного из устройств. Лучше всего

это испытание провести на острове Ниску. Он безопасно расположен, его жители эвакуированы.

Генерал Тханг кивал.

Улыбка требует ответной улыбки. Он глубоко верит в узы традиционной дружбы.

А мальчик рос.

Генерал Тханг хорошо запомнил остров Ниску.

По светлomu, очень мелкому, провеянному ветром песку прямо к бункеру привели худого старика в грязном чхоле, небрежно опоясывавшем его бедра, покрытые мелкой сыпью. Старик бы напуган, но не подавал виду. Жителей Ниску эвакуировали, но некоторые, как этот старик, не выдержав тоски чужих мест, на свой страх и риск выходили в море.

— Я пришел один!

Старик на все вопросы отвечал одинаково. Для большей убедительности он хитро подмигивал и показывал длинный скрюченный палец с черным полукружием разбитого ногтя.

— На берегу два челна, — терпеливо возразил генерал Тханг.

Чужие бледнокожие офицеры окружили старика, с вежливым интересом прислушивались к беседе, шедшей на саумском языке.

— На берегу найдены два челна. Ты не мог привести оба челна. Они даже не связаны веревкой.

— Я пришел один! — хитро подмигивал старик генералу и показывал длинный скрюченный палец.

— Ты не молод, — настаивал генерал Тханг. — Тебе нелегко пересечь пролив.

Старик хитро подмигнул:

— Я умею.

Тавель и офицеры связи стояли за спиной генерала Тханга. Генерал был невысок, кое-кто из чужих офицеров обходил его чуть ли не на две головы, но Тавель выделялся и среди них. Черный мундир, коричневая в клетку повязка на рукаве невольно и страшно томили

старика. Отвечая генералу, он нет-нет да поглядывал на Тавеля. Так с некоторых пор он поглядывал на рыбу, выловленную в проливе. Камбала, покрытая некрасивыми нарывами, угри с опухольями величиной в голубиное яйцо, макрель с незаживающими ранами на брюхе и под плавниками. В мире что-то происходило. Старик готов был ответить вежливому генералу, но молчаливый Тавель его томил.

— Зачем терять время? — наконец не выдержал Тавель. — Старик утверждает, что пришел один. Почему не поверить старому человеку?

Бледнокожие офицеры переглянулись.

— Покормите рыбака, — приказал генерал.

Старикун принесли термос.

Грязный чхоль плохо прикрывал покрытые сыпью бедра. Старик с опаской взглянул на чашку с бульоном. Он привык к похлебке густой и мутной, бесцветная жидкость с пятнами расплавленного жира на поверхности его отпугивала. Бульон был так прозрачен, что чашка вдруг показалась старику пустой.

Но он опорожнил чашку.

— На берегу два челна, — терпеливо повторил генерал Тханг и многозначительно глянул на Тавеля: — Кай видел оба челна. Они вырублены из дерева тайх, это тяжелые челны. Тебе не под силу пройти пролив, ведя на буксире второй челн. Ты пришел на остров с сыном. Может быть, ты пришел на остров с соседом. В любом случае ты пришел не один, твоему сыну или соседу угрожает опасность.

Старик вновь хитро подмигнул и показал скрюченный палец.

— Отдайте старика Тхату, — нетерпеливо посоветовал Тавель. — Тхат поджарит этого старого лгуна.

— Жители Ниску — огнепоклонники, — сухо заметил генерал. Он не хотел, чтобы слова Тавеля поняли чужие офицеры или расслышал Кай, легко поднявшийся с берега к бункеру.

— Разве огнепоклонники не чувствуют боли? — удивился Тавель.

— Огонь для них очищение, — еще суше заметил генерал. — Огонь их преображает.

— Огонь нас преображает, — обеспокоенно подтвердил старик. На всякий случай он подмигнул и Тавелю.

Генерал усмехнулся. Его слова предназначались не Тхату и не Тавелю, он, генерал Тханг, разговаривал со стариком, терпел этого безумца лишь потому, что Кай вернулся с обхода контрольных точек и стоял рядом. Каю предстояло великое испытание, никто не должен был этому помешать.

— Мы не можем откладывать эксперимент, — напомнил один из чужих офицеров.

Генерал Тханг кивнул. И спросил Кая:

— Что скажешь ты?

Кай низко наклонился к старику, глянул ему в глаза.

— Я найду его сына. Мне надо пойти к пещерам. Возможно, я успею его привести.

Лицо старика разгладилось, он несколько не был испуган. С детским любопытством он смотрел на другого. Он даже сказал, уже не подмигивая:

— Пещер много.

Кай выпрямился. Чужие офицеры с интересом поглядывали на него.

— Я постараюсь успеть.

— Что ж... — генерал Тханг взглянул на часы. — Запас времени невелик, но все же он есть. Если ты разыщешь рыбака в пещерах, уводи его на восточное побережье. Там, в ущельях, можно уберечься от прямых ударов.

— Я это сделаю, — Кай подмигнул старику.

— Если ветер подует с моря, а нам это обещали, я открою бункер через девять часов. К тому времени ты можешь выходить в обратный путь — к нам. Не раньше, Кай. Ни минутой не раньше.

— Девять часов... — Кай покачал головой. — Вам не стоит появляться на поверхности и через двенадцать. Я выдержу. Я спрячу рыбака и найду возможность связаться с вами.

— Тогда иди, — сказал генерал без улыбки.

Он не хотел затягивать эту сцену. Его нисколько не интересовала судьба рыбака, его, собственно, не трогало и мнение чужих офицеров. Он думал только о Кае. «Если Кай выдержит, мы победили».

Никаких других вариантов он не допускал.

Еще раз прикинув предполагаемую мощностъ взрыва, он покачал головой. «На месте Кая я бы спешил».

Впрочем, он никак не мог быть на месте Кая.

Серая крыса, явно прибывшая на Ниску в ящике с оборудованием, стремительно метнулась в сторону, будто только сейчас увидев людей. «Почему люди так ненавидят крыс? Чему можно научиться у пчелы? Беспредельному трудолюбию? Но трудолюбие в крови детей Сауми. Чему можно научиться у красивой бабочки? Бессмысленному порханию? Но его и так достаточно в крови хито. Почему люди не хотят учиться у крыс? Почему уроки жизни они предпочитают брать совсем у других, более слабых, более неорганизованных существ? Кто, кроме крысы, может проникнуть в отверстие, вдвое меньше диаметра ее тела? Кто, кроме крысы, может подняться по вертикальной стене и выжить даже в канализационных трубах? Кто, кроме крысы, может продержаться в холодной воде трое-четверо суток?..»

Генерал Тханг усмехнулся.

Доктор Сайх учит: побеждает лишь победитель.

Успокоенный, он медленно спустился в бункер, и чужой дежурный офицер с величайшей вежливостью и готовностью включил замки автоматических люков, все еще открывающих над головой грозное, обесцвеченное жарой небо.

Генерал Тханг присел к перископу.



Тревожно мерцали контрольные лампы, так же тревожно отстукивал метроном оставшееся до взрыва время. Старик рыбак, забившись в угол, с ужасом следил за непонятными людьми. До этого дня он не думал, что под землю можно опуститься так глубоко. Мы сейчас ниже моря, в отчаянии думал он. Почему не сочится вода из стен? Мы сейчас так глубоко, что, может, прямо за стеной, в двух локтях от него, раскачиваются водоросли, выглядывает из-под камня серый, как песок, краб.

Старик в отчаянии закрыл глаза.

Затемнив оптику, генерал Тханг развернул перископ. Он видел каменный гребень, укрывший бункер от прямого удара, он видел красную ракету, очень бледную при солнечном свете.

«Кай найдет рыбака...»

И когда оптика внезапно ослепла, когда над островом Ниску испарились тени и звуки, когда мелко и страшно надрывно задрожал скальный массив, генерал непроизвольно втянул голову в плечи.

«Кай не успеет...»

Оптика наконец прозрела.

Черно-багровый шар пыли и света медленно вставал над оплавленными базальтами. Он был окружен ослепительным голубым кольцом. Утробный рев расталкивал земные пласты, плавил камни. Генерал с отчаянием думал: «Нам никогда не приручить этого джинна. Чтобы его приручить, необходимы специалисты. Чтобы иметь специалистов, необходимо обучать их за рубежом. А это означает: хито! Все новые и новые хито, все новые и новые вредные элементы. Доктор Сайх учит: хито — это враги. Хито — это извечные враги. Нам никогда не получить этого страшного джинна. Получив его, мы будем связаны по рукам и ногам».

Тревожно стучал метроном, шепотом переговаривались офицеры. Старик, закрыв глаза, лежал в углу бункера.

Три часа... Пять...

Они пообедали.

Девять часов...

— Ветер? — спросил генерал.

— С моря.

— Тхат, готовьте костюм защиты.

Тхат вытянулся, но посмотрел на Тавеля. Он был офицером Тавеля, он хотел оставаться дисциплинированным офицером. На его плоском лице не было страха, но он не шевельнулся.

— Еще час... — мягко сказал Тавель. — Что изменится, подожди мы еще час?

— Это приказ, — негромко повторил генерал.

Бункер затопило тревожное молчание. Чужие офицеры переглянулись. Они-то не выйдут на поверхность и через сутки.

— Вы еще здесь?

Тхат стремительно бросился на второй уровень. Тяжелые башмаки фиксировали грохотом каждую ступеньку.

— Тхат — испытанный офицер, — заметил Тавель негромко. — Всегда жаль терять испытанных офицеров.

— В таких случаях нужны именно испытанные, — коротко ответил генерал.

Бункер вздрогнул. Бетонные стены качнулись, с толка шумной стружкой потек песок.

— Что это?

Грохоча башмаками, со второго уровня скатился полковник Тхат. Он до пояса был затянут в нелепый костюм высшей защиты. В его раскосых глазах застыли ужас и восхищение.

— Это Кай, генерал! Он подорвал заряд, чтобы заклинить люки бункера!

«Вот и все!» — подумал генерал.

Он не чувствовал торжества. Просто чужие офицеры и их чудовищное устройство сразу потеряли всякое зна-

чение. Теперь уже он может презрительно усмехнуться. Кай выдержал. Сауми не нужны чужие бомбы. Сауми не грозит возрождение хито. Ничего такого больше никогда не будет, потому что другой здесь, он с ними!

— Кай убит? — не понял один из чужих офицеров. — Ваш этот Кай, он убит?

Генерал Тханг с изумлением воззрился на спрашивающего:

— Кай Улам по собственной воле заклинил люки. Видимо, радиация наверху выше расчетной. Кай не хотел, чтобы мы рисковали собой, помогая ему. Он заклинил люки, чтобы мы не вышли на поверхность раньше, чем нужно. Он освободит нас, как только сочтет это возможным.

— Он жив?! Он там, наверху, и он жив?!

Генерал не ответил. Он прижался лбом к перископу. Он увидел: Кай Улам, другой человек, стоял на каменном гребне. Он, как заправский сигнальщик, размахивал руками.

— Читайте, — приказал он Тхату.

Он был полон ликования. Кай нашел рыбака. К сожалению, рыбак погиб. Он умер на руках Кая. Кому дано пережить столь мощный радиационный удар? Кай не хочет, чтобы люди рисковали собой. Он уходит к морю, но утром вернется. Он найдет способ вызволить их из-под земли.

### 3

Генерал шел на шаг впереди Кая.

Он слышал мягкое притоптывание босых ног Тё, он чувствовал затылком взгляд Кая — поддерживающий, мягкий.

Доктор Сайх учит: побеждает не меч, побеждает не бомба, побеждает не техника. Сауми не нуждается ни в чем таком. Сауми отказывается от оружия уничтожения. Из страны нищей, самой историей отторгнутой на

край нищего континента, она мгновенно превратилась в страну Будущего, ибо Будущее определяется детьми.

Вот Кай.

В ореоле добра он шествует в Будущее. Временные помехи не в счет. Он одинаково добр и к солдатам за ширмами, и к чужим журналистам, приставшим на цыпочки, чтобы лучше видеть другого.

Кай неуничтожим.

Генерал усмехнулся.

Кай бодр. Кай переживет все. Ему не страшны взрывы ядерные и демографические, ему не надо ломать голову над проблемой глобального круговорота вод, ему безразличны препятствия и помехи. Он другой. Он совсем другой!

Генерал шел, автоматически отмечая все прежде всего бросающееся в глаза. Например, оттянутый карман курточки Садала.

«Садал весь во власти иллюзий. Ему ли знать, сколько раз он, генерал Тханг, подставлял Кая под стволы винтовок, сколько раз пускал его в самое пекло? Если в кармане Садала и впрямь находится пистолет, как о том доносил Су Вин, Садал все равно не выстрелит».

Для журналистов, подумал он, несостоявшийся выстрел станет сенсацией. Знаки, подброшенные в отель, сама обстановка города хорошо подогрели их. Несостоявшийся выстрел не сможет не подействовать на разыгравшееся воображение журналистов...

Генерал Тханг обернулся — подать руку Тё.

Кай, обогнав генерала, засмеялся. Он что-то увидел. Он сказал, засмеявшись: «Дай его мне!» Это прозвучало странно и непонятно. Генерал излишне резко, пожалуй, для своего возраста повернулся.

Чуть ли не в лицо ему ударил выстрел.

## IV

Стенограмма пресс-конференции.  
Сауми. Биологический Центр

Д. КОЛОН:

Цан Улам, связана ли идея другого человека с какими-то работами известных современных ученых, или она целиком принадлежит вам?

Доктор УЛАМ:

В свое время я внимательно следил за работами Мёллера, Мьёена, Дельдаго, Марка, Синшеймера, Гейтса, но никто из них не нашел в себе мужества пойти дальше слов о необходимости каких-то качественных изменений. Как всем остальным, им попросту не хватило дерзости. Доктор Сайх учит: нет смысла изменять мир. Доктор Сайх учит: изменять следует только человека. Все остальное не имеет значения.

Н. ХЛЫНОВ: Цан Улам!

Известно, что доктор Сайх сравнительно долгое время провел в странах Европы, а значит, не мог не коснуться общечеловеческих ценностей, общечеловеческой культуры. Он лично знаком со многими ее достижениями, со многими философскими воззрениями. В то же время, со слов саумских беженцев, известно, что социальные реформы, широко проводимые доктором Сайхом, ведут к построению общества, полностью лишённого городов, техники, религии, рынков, институтов права и собственности, всего того, что с таким трудом создавалось всем человечеством в течение многих исторических и даже доисторических эпох. Как связана идея другого человека с идеями доктора Сайха?

Доктор УЛАМ (резко):

Это не имеет значения.

Д. КОЛОН:

Цан Улам, как ведутся операции на генном уровне?

Доктор УЛАМ:

С помощью ряда специфически действующих ферментов. Это главные инструменты молекулярной химии, хотя и не единственные. Одни ферменты, подобно скальпелю, рассекают молекулу ДНК на отдельные части, другие, как ножницы, удаляют ненужное, третьи, подобно игле, сшивают фрагменты в новую, более сложную структуру. Входя в состав хромосом нового хозяина, молекула ДНК, носительница чужеродного гена, становится неотъемлемой частью наследственного аппарата воспринявшей ее клетки и сообщает этой клетке новые наследуемые свойства, каких у нее прежде не было. По сути дела, мы можем искусственно создавать абсолютно новые, никогда прежде не существовавшие в природе живые объекты, скажем, банан, плоды которого имеют вкус мяса...

Д. КОЛОН (насмешливо):

...или политика с чистыми руками!

Доктор УЛАМ (улыбается):

...или другого человека!

Н. ХЛЫНОВ:

Что значит Сауми для другого?

Доктор УЛАМ:

Родина.

Н. ХЛЫНОВ (настойчиво):

Цан Улам, вы действительно берете на себя смелость определять будущее всего человечества?

Доктор УЛАМ:

Доктор Сайх учит: толпа никогда не знает, в какую сторону ей полезно двигаться. Доктор Сайх учит: человечеству необходим поводырь. Но любой поводырь необходим только в дороге. Какое-то время, может, даже длительное, путь Кая и путь остальных будет как бы одним путем. Какое-то время вся толпа будет двигаться рядом с Каем. Потом отстанут все хито, потом отстанут все остальные. Доктор Сайх учит: побеждает лишь победитель. Час, который можно назвать нулевым, пробил. Пробьет и тот час, когда рядом с Каем не останется

никого из прежде многочисленных толп. Тогда Кай сможет присесть на берегу Большой реки под тенью густого дерева и спокойно обдумать дальнейшую судьбу своей свободной планеты.

**Д. КОЛОН:**

И когда же это случится? Через сто лет или через тысячу?

**Доктор УЛАМ (улыбается):**

Я уже говорил: через сто лет или через тысячу, это не имеет никакого значения.

**Д. КОЛОН:**

Цан Улам! Но почему вы не выпустили другого в мир тайно? Зачем вы так неожиданно пригласили нас в Сауми, в страну, где давно не бывало ни одного иностранца? Зачем все это вам потребовалось? Ведь, возможно, не знай мир, не знай все остальные, как вы любите говорить о появлении в мире другого человека, другому, наверное, гораздо легче было бы завоевать этот мир. Разве не так? Короче: нужна ли чуду реклама?

**Доктор УЛАМ (улыбается):**

Чтобы чуду поверили, чудо должно быть массовым.

## **Д. КОЛОН: ПЕКЛО ТВОРЕНИЯ**

### **1**

— Я всегда попадаю туда, где господь бог нуждается в дельном журналисте, — не без самодовольства заметил Колон, провожая взглядом Тавеля.

— Вы уверены, что вели себя правильно?

— А разве не видно, что этот парень проиграл? Он неинтересен уже сейчас. Чего от него ждать в будущем?

— Вы все же думаете о будущем?

— А как же, — ухмыльнулся Колон, и шрам на его щеке дрогнул. — Будущее, дружище, это и наши репор-

тажи. Может быть, он станет лучшим в моей работе, этот репортаж о неуничтожимом и вечном Кае.

— Ты сомневаешься в словах доктора Улама?

Колон усмехнулся:

— Что-то я никогда не слыхал, дружище, чтобы человек, которого объявили вечным, прожил больше того срока, который отпускали сами объявляющие. Вы же знаете, как легко уничтожается органика. Достаточно дослать в ствол патрон... А уж любители таких дел найдутся.

— Даже здесь?

— Прежде всего — здесь! — Колон кивнул: — Вот солдаты... Может быть, именно сегодня до него наконец дойдет, что это он сам застрелил своего брата, убил мотыгой отца, отправил в специальные поселения ближайших родственников, а две дочери его были отправлены в Биологический Центр в виде живого материала. Неужели, черт возьми, его и такое не разбудит, а?.. Или тот же Тавель. Он уходит уже не на вторые, а на третьи, на четвертые роли. Он актер по натуре, а все его окружение сейчас — Садал, человек-дерево. Неужели Тавель позволит спокойно оттолкнуть себя в самые задние ряды, в массовку, в толпу, а?.. А хито? Многочисленные и хитроумные хито? Неужели они наконец сложат оружие и явятся получать прощение и благословение Кая? Звучит красиво, но эта музыка не для моих ушей. Я уверен, что любой в этом зале, сложись так обстоятельства, сам вздернул бы на веревке доктора Сайха.

— Но не Кая, Джейк.

— Сегодня, возможно. Но не завтра, — сухо заметил Колон. И не выдержал, усмехнулся: — Когда я вернулся из Никарагуа, на мой нью-йоркский адрес стали регулярно поступать картинки, очень похожие на те, что мы выбрали утром на пороге нашего номера. Мое имя тоже перечеркивалось жирным крестом, из-за репортажей, которые я присылал из Никарагуа. Ну так



вот, я не Кай, я не стал брыкаться. Я снял с дверей табличку со своим именем и сменил номер телефона. Мне вовсе не нравилось, когда неизвестный голос не без удовлетворения справлялся: тот ли это Колон, та ли это грязная свинья, что требует оставить в покое грязных никарагуанцев? В общем, я понял, что надо дать отдых этим неизвестным голосам. Я укатил в Японию. И если уж быть честным, дружище, по-настоящему в безопасности я чувствую себя только здесь, в Самуи, потому что мне прекрасно известно, что Тавель на самом деле ненавидит вовсе не меня, а своего брата, и этот Садал, этот человек-дерево, если в кармане его впрямь лежит пистолет, будет стрелять не в меня, а в того же Кая. Все они тут так рьяно чтут заповеди доктора Сайха, что мы для них, люди, что изредка появляются извне, — тени. Мы не друзья им и не враги. Я еще не разобрался в тайных пружинах этого спектакля, устроенного Уламом, но почему-то уверен, что мы с вами попали сюда только лишь потому, что теперь это и впрямь не имеет никакого значения. Может, совсем иначе к нам отнеслись бы хито, вредные элементы, но, как вы понимаете, Су Вин не допустит сюда ни одного хита, для того и посажена на порог Биологического Центра эта крошечная, но злобная крыса.

— Вы что, действительно думаете, что здесь может прозвучать выстрел?

— Я верю в ситуацию, — коротко ответил Колон. — Отель пуст, но нас тщательно готовили к спектаклю. На пресс-конференции нам пели гимны в честь неуничтожимого Кая, а в коридорах отеля нам подбрасывали картонки с угрозами в адрес Кая. Нам неплохо взболтали мозги, а, дружище? Разве внутренне вы не настроены на событие? Лично я глубоко уверен в том, что когда появляется столь заманчивая цель, как наш Кай, множество пистолетов почему-то оказываются заряженными.

Отвечая Хлынову, он задумчиво следил за Садалом.

Сумрачный, колеблющийся свет глянцево отражался от блеклых зеленоватых ширм. Высоко над головами колебалась та же полутьма, неосязаемая, но плотная. Садал, человек-дерево, хорошо вписывался в это окружение. Так упавший валун вписывается в пейзаж горной реки.

«Мне плевать на то, кто он, этот Кай, — не без раздражения думал Колон. — Я вижу, что вокруг него слишком много возни. Человечный он? Добрый он? Честный? Мне это все равно, но пусть, скажем, окажется честный. Надоело говорить со лжецами. В конце концов, с честным человеком, другой он или нет, разговаривать легче. В разговоре с честным человеком совсем неважно, лгу я ему или нет. Это же не я опустошил Хиттон и выгнал уцелевших людей в гнилые тропические болота. Мне будет легче говорить с Каем, если я это буду держать в мозгу. Мне в конце концов наплевать, как собираются доживать свой век эти мудрецы — доктор Сайх и доктор Улам, как собираются доживать свой век генерал Тханг, цан Су Вин или тот же Тавель. Они-то свое получили, они-то здорово согрели руки в саумской смуте, они взяли свое за былые унижения, за унижительное преследование королевских ищеек, за нищенскую и унижительную жизнь политических эмигрантов. Желтых эмигрантов, — чисто профессионально подчеркнул он. — И что бы ни стояло за Каем, действительно ли он так высок во всех планах, как подчеркивал доктор Улам, или он всего лишь по-азиатски хитрый символ людей доктора Сайха, разбираться в этом будет все же не он, Колон, разберутся в этом скорее всего именно те, кто сегодня объявлен хито и подлежит уничтожению. Эта безликая толпа, загнанная в болота, вдруг очнется и обязательно выплеснется обратно в оставленные ими города. Эта безликая толпа не просто растопчет, уничтожит другого, она сделает еще больше, она напроць растворит его в себе со всеми его мнимыми и действительными достоинствами. Даже дети Кая,

сколько бы их ни было, ничего не смогут с этим поделать. Они ведь не могут жить вне толпы, они должны есть с нею, спать с нею — жить. Жадные и щедрые, лукавые и простодушные, пораженные венерическими болезнями и лихорадкой Денге, отягощенные передающимися по наследству пороками, каждый из них приложится к детям Кая. Так что доктор Улам прав: услышим мы выстрел или нет, это не имеет значения.

Это я прав, — усмехнулся Колон. — Доктор Улам думает совсем не так. Для него мир выглядит совсем иначе, потому что он-то, доктор Улам, похоже, и впрямь верит: другой с нами!

Услышим мы выстрел или нет, цель все равно определена...»

Колон усмехнулся двусмысленности пришедшей ему на ум фразы.

Цель определена...

«Еще ни один мессия, — усмехнулся он про себя, — не умирал собственной смертью. Доктор Улам осмотрителен в ответах, когда надо, он просто не дает ответа, говорить надо с Каем. Кто бы он ни был, я обязан его разговорить. Фальшивка он или само невероятие, я обязан его разговорить. Мне не нужно ревуших толп, мне достаточно будет нескольких ответов Кая. Если они соответствуют тому, о чем я думал все эти дни, мои репортажи будут открывать любую программу. Неизвестно, поможет ли Кай страждущему человечеству, но ему, Джейку Колону, другой обязан помочь; другой — это новая ступенька к новому, по-настоящему крупному успеху. Это не репортажи из лабораторий нобелевских лауреатов, это не репортажи из Вьетнама, Гранады и Никарагуа. Тема другого человека затрагивает каждого, от нее не отмахнешься рукой, эта тема мгновенно расшевелит человеческий муравейник.

Кто не знает? Всех любить очень несложно.

Это очень трудно — полюбить отдельного, совершен-

но конкретного, мелкого, жалкого, опустившегося человека.

Он, Колон, он прямо спросит: «Цан Кай! Вы действительно любите каждого? Вам действительно больно за каждого? Вы действительно готовы помочь каждому?» — и если Кай Улам, другой человек, ответит: «Да!» — он, Колон, непременно спросит: «Значит, и тех, кого убили мотыгами у Южных ворот и на площадях Хиттона? Значит, и тех, кто шел босиком в дальние спецпоселения, оторванный от родных мест и людей? Значит, и тех, кого уничтожили офицерские части Тавеля, освобождая для вас жизненное пространство?»

Интересно будет увидеть выражение на лице другого.

А если Кай вдруг ответит: «Да!»

Не думаю, — усмехнулся Колон. — В конце концов, понятие «человек» пока что, в сущности, мечта, лишь чуть-чуть приближающая нас к тому идеальному существу, которое видится нам в смутных грезах. В бездне времен, в царстве самых примитивных пресмыкающихся, а наверное, еще ранее, где-нибудь среди панцирных рыб и ракоскорпионов самой природой было определено количество наших будущих пальцев, фаланг, суставных членений, наконец, даже качество наших будущих грехов. Мы плоть от плоти невероятного, бесконечного, бесчувственного зверья. В нас ревет и рвется наружу ярость и злоба акул, ихтиозавров, терпод. И вдруг сразу — Кай! Всевидящий, всепонимающий, стоящий над всеми и вся!»

Где-то рядом мелькнула мысль: «Не зря ли я отклонил предложение Тавеля?»

Нет, не зря. На сирен мне наплевать, если они даже и впрямь водятся в десяти кошах от Хиттона. Важно первым выдать репортаж, посвященный другому человеку, если даже этот другой чистой воды фальшивка. А за сиренами я отправлюсь в другой раз. Если Тавель совсем не сойдет со сцены.

Вообще-то, — подумал Колон, — это тоже не безынтересно: поохотиться на сирен, послушать басни охотников, поболтать с солдатами в черных мундирчиках, поболтать, может быть, с хито, которых могут схватить на тропах сирен. Это весьма не безынтересно, полюбоваться изнутри саумским раем. Он, Колон, умеет расписывать такие истории. В его изложении даже однообразные опыты генетиков, посвященные безобидным мушкам-дрозофилам, выглядят историей Пунических войн, в которых одни (нападающие) с невиданным упорством разрабатывают все новые и новые виды оружия, а другие (защищающиеся) с не менее невиданным упорством видоизменяют самих себя, спасаясь от тех видов оружия.

Видоизменяют самих себя...

Вот где мы смыкаемся с доктором Сайхом! — не без удовлетворения фыркнул Колон. — В конце концов, если, пройдя сквозь тысячу войн, мы так ничему и не научились, почему не появиться другому?»

## 9

Не связанный правилами и условностями, доктор Улам, несомненно, мог достичь многого. Он, Колон, побывал не в одной лаборатории, всерьез занимающейся наследственностью, он понимал, какие возможности там крылись. Нет, конечно, там вовсе не выращивали других, там не основывали другого человечества, но речь, по сути, шла все о том же — об изменении, об улучшении человеческой породы.

«Пекло творения» — так назвал свой репортаж Д. Колон, побывав года полтора назад в лаборатории известного молекулярного химика Джи Энгуса. Старики Энгуса, как представился Колону сам химик.

Впрочем, помещение, в которое ввел Колон старик Джи Энгус, менее всего напоминало пекло. Высокие потолки, стерильная чистота, огромная фотография на

стене — нечто вроде модуля, доставившего астронавтов на Луну. Поблескивающие никелем стеллажи, химическая посуда. В углу аквариум с пурпурными морскими ежами — тоже достаточно болтливый биологический объект. Легчайший, едва уловимый запах серы — вот единственное, что Колон смог отнести к неизменным атрибутам пекла.

Колон не знал, схожи ли лаборатории Биологического Центра с лабораторией старика Джи Энгуса. Почему бы и нет? За стенами Биологического Центра могут гроыхать перестрелки, за ее стенами можно копать рвы и возводить баррикады, внутри все равно стоит тишина и поблескивают стекло и металл приборов. Впрочем, некоторые отличия явно существовали: ассистенты доктора Улама повязывали головы белыми национальными косынками, мелко подрубленными по краям, старику Джи Энгусу помогал широкоплечий рыжий ирландец. На нем болтался длинный халат, ирландец казался неповоротливым. Но поворачиваясь, ирландец очень уверенно и мягко выставил на столик колбу, наполовину заполненную полупрозрачной желеобразной массой. Похоже, ирландец заранее знал, что именно потребуется старику Джи Энгусу.

— Ну, смелее! — весело потребовал химик. — Никто вас здесь не укусит!

Колон нерешительно притронулся к торчавшей из колбы стеклянной палочке; накручиваясь, потянулся за нею студенистый полупрозрачный ком.

— Подумать только! — хихикнул старик Джи Энгус (при небольшом росте он еще и косил). — Вы запутываете сейчас нить жизни! Думаете, это яичный белок? Ошибаетесь! Это ДНК, самое знаменитое химическое соединение нашего века, носитель наследственных свойств, главный дирижер нашего внутриклеточного оркестра. Человек и пчела, ящерица и медведь, цветок и бактерия — все мы родственники по ДНК. Так что от-

носитесь к природе благоговейно, Джейк! В высшей степени благоговейно!

— Даже если передо мною тигр, а у меня нет оружия?

— В этом случае особенно! — хихикнул суетливый химик. — И не морщите лоб, брезгливость вам не к лицу. Ведь именно в этой элегантной структуре, которую мы привыкли называть ДНК, записано всё обо всем. Именно из-за ее свойств сирень, выращенная вами в саду, даст цветы сирени, а не мака, и цветы эти будут пахнуть именно сиренью, а не ландышами или вербеной, а ребенок, зачатый вами, получит цвет ваших глаз и ваши скулы и будет походить именно на вас, а не на вашего соседа по подъезду.

— Но выглядит это так инертно... — разочарованно протянул Колон.

Коротко хихикнув, старик Джи Энгус выловил из аквариума крупного морского ежа. Он обращался с ним бесцеремонно, но аккуратно. Одним движением шприца ввел небольшую дозу солевого раствора в кожу, усаженную короткими зеленоватыми иглами.

— Взгляните.

Из многочисленных пор проступила белесоватая жидкость.

Так же бесцеремонно, но аккуратно старик Джи Энгус перенес каплю белесоватой жидкости на предметное стекло:

— Ну?

Колон прильнул к окуляру микроскопа.

Он увидел сотни сперматозоидов, мечущихся внутри клетки. Их хвостовые жгутики извивались с потрясающей быстротой, они жаждали воссоединения, они рвались к воссоединению, они искали его.

— Вот вам и инертная масса! — довольно потер ладошки старик Джи Энгус. — Благодаря вот такой вот инертной массе явились в мир Атилла и Аристотель, Герострат и Гёте, журналист Колон и химик Энгус.

— И Джина Лоллобриджида? — усмехнулся Колон.

— И она тоже, — обрадовался старик Джи Энгус. — А если быть совсем точным, ее появление на свет даже более закономерно, чем наше. Ведь она женщина, мой друг. А наш мужской У-ген, — это всего лишь недоразвитый Х-ген женский! Мы, мужчины, — хихикнул он, — всего лишь недоноски на генном уровне.

Колон кивнул.

Он не собирался ограничивать свои интересы Джинной Лоллобриджидой. Его интересовали и другие судьбы. Одним из самых неполных досье в его архиве являлось досье на доктора Улама, а ведь Улам был хорошо знаком со стариком Джи Энгусом, возможно, он бывал когда-то и в этой самой лаборатории.

— Вы помните доктора Улама? — спросил он, не отводя глаз от окуляра. Он не хотел, чтобы Энгус видел его глаза.

— О, Улам!.. Это потеря, — внезапно опечалился Энгус. — Потеря для науки, мой друг.

— Потеря?

— Я многого ждал от умного саумца. Он подавал великие надежды. Он бывал в высшей степени нескромен, но именно это помогало ему браться за невозможные вещи. Именно это, боюсь, и сгубило карьеру Улама. Он постоянно брался за рискованные вещи. После скандала в лаборатории Стоккарда Уламу пришлось покинуть нашу страну. В худшем случае он мог оказаться под следствием.

— Что это за скандал?

— Странная смерть трех добровольцев. Кажется, они были безработными. Улам уговорил их проверить на себе его сумасшедшие идеи. Нелегкие времена. Это были нелегкие времена, мой друг. Сразу после войны многим пришлось потуже затягивать свои пояса.

— Что же случилось с добровольцами?

— А что случилось с самим Уламом? — быстро спросил старик Джи Энгус. Было понятно, что тема, за-



тронутая Колоном, как-то касается и его. — В шестидесятих годах имя Улама исчезло из научной печати. Я сразу обратил на это внимание. Меня это, признаюсь, насторожило. Он был слишком беспринципен, этот саумец...

— Доктор Улам вернулся в Сауми.

— Вот как? — Глаза химика удовлетворенно забегали. — Я рад за Улама. В наших краях он рано или поздно, но обязательно бы схлопотал срок.

— Разве в Сауми трудней найти добровольцев?

— О! Добровольцев там больше, чем где бы то ни было в других местах, но ведь это Азия! А кто в Азии всерьез интересуется генетикой или молекулярной химией? На какой базе мог разрабатывать Улам свои теории? Нет, я не верю в азиатскую карьеру Улама. Азиаты заняты добычей еды и воспроизведением себе подобных.

— Не слишком ли упрощенный подход?

— Не упрощенный. Достаточный!

— Разве нельзя вести в Сауми исследования, подобные вашим?

— Почему нельзя? — Энгус с любопытством раскосо уставился на Колона. — Подобные исследования можно вести везде, где есть человек. Но чтобы получить серьезные результаты, необходима отличная аппаратура, редкие препараты, большие средства, наконец, вышколенный научный персонал.

— Доктор Сайх учит: побеждает лишь победитель.

— Сильно сказано. Кто этот доктор Сайх?

— В прошлом палеонтолог, специалист по ископаемым позвоночным, ныне политический лидер, глава военной Ставки Сауми.

— Вот как... — Глаза Энгуса обеспокоенно забегали. — Вы думаете, Улам мог наладить контакты с этим... палеонтологом?

— Почему нет? Мы подумали об одном и том же.

Старик Джи Энгус рассмеялся. Старик Джи Энгус погрозил Колону пальцем:

— Идеи Улама вряд ли заинтересуют военную Ставку, будь она хоть семи пядей во лбу. Идеи Улама, каковы бы они ни были по сути, всегда были обращены к будущему, а где вы встречали диктатора или хунту, интерес которых простирался бы дальше завтрашнего дня?

— А в чем заключались идеи Улама?

— Прежде всего, Улам считал, и, думаю, не без оснований, что современный человек является достаточно жалким существом, в том смысле, что ему предназначалась роль богоподобного создания, а он свел ее чуть ли не к нулевому уровню. Улам также считал, что современный человек обладает слишком устойчивой наследственностью, суть чуть ли не динозавром, недостаточно приспособленным для эффективной адаптации к резко изменяющимся, по его собственной воле, условиям существования. Человек, считал Улам, жертва некоего эмоционального анахронизма, существо со свойствами, уместными в примитивных условиях, но никак не в условиях технологической цивилизации.

— Наверное, он видел какой-то выход из этого тупика?

— А кто вам сказал, что это тупик? — хихикнул старик Джи Энгус. — Человек не игрушка. Сломать его легко, но никому пока не посчастливилось собрать его заново.

— Но Улам...

— Хватит об Уламе! — резко оборвал Колону хмик. — Могу повторить: я рад, что Улам исчез. Он был слишком циничен в выборе объектов исследований. Он никогда не видел в человеке ничего божественного, он видел в нем лишь живой, достаточно податливый материал для своих далеко не безупречных экспериментов. Я рад, что след Улама затерялся в Азии. Сауми — это не та страна, в которой начинается человеческая

история. Сауми — это скорее нечто из прошлого. Нечто вроде Урарту или Шумера, жители которых еще не вымерли.

— Вы позволите, я запишу ваше высказывание?

— Еще бы! Я произнес это для вас!

### 3

Другой?

Другой человек?

А почему нет? Такая тема разожжет страсти. А уж он, Колон, умело подольет масла в огонь. История упряма. Он, Колон, напомним об ее уроках. Никогда нелишне напоминать человечеству об Аттиле, о Золотой Орде, о Наполеоне или о Гитлере.

Кай добр? Мудр? Человечен?

Какое это может иметь значение, если всем остальным его появление грозит уходом?

Впрочем, ему, Колону, беспокоиться рано. Если Кай — проблема, то он все же проблема потомков. Через сто лет или через тысячу... Он, Колон, не протянет сто лет... А потомки... Что ж... Он, Колон, надеется, потому и найдут панацею и от этого.

Но Колон хотел увидеть Кая. Он трепетал от нервного напряжения. Он хотел видеть, какой он — Кай? Какой у него рост, какой формы нос, как прижаты уши к черепу? Совсем немаловажно, подумал он, как этот Кай развит физически. Это даже не плохо, если он и впрямь вызывает в людях мгновенную симпатию. Хотя вряд ли такая черта может уберечь даже от случайного выстрела...

Краем глаза, невдалеке, Колон видел Садала.

Длинные волосы падали Садалу на лоб, на кармане курточки белыми запятыми висели колючки. По каким пустырям он лазал? И зачем он здесь?

«А-а-а... — подумал он. — Доктору Уламу вовсе не

безразлично присутствие Садала. Разве Кай не само совершенство на фоне этого вырожденца?

Впрочем, — вдруг понял он, — все мы здесь только фон. Доктор Улам не глуп. Он не случайно наставил ширм и зажег масляные светильники. Держу пари, что и картонка под порогом номера, картонка с перечеркнутым именем Кая, тоже входит в антураж разыгрываемой перед нами сцены. «Видите! — может торжествовать Улам. — Вот Кай! Он безоружен, его оружие — улыбка и доброта. Он выходит к вам рядом с Тё. Ему совершенно некого бояться. Это ведь не он, а цан Су Вин и генерал Тханг пасаживали за ширмы солдат...»

Колон шагнул вперед.

Ему хотелось лучше рассмотреть выступившего из ниши генерала Тханга. Он увидел доктора Улама, он увидел Тё, о которой знал лишь то, что она не единственная жена Кая. Но на последнее ему было наплевать, оно интересовало его лишь как деталь возможного репортажа. Это, в общем, не его дело. Ему, Колону, абсолютно все равно, как живут саумцы, сколько у них жен. Ему, Колону, достаточно того, что они занимаются убийствами и любовью в достаточном от него отдалении.

Но он сделал еще шаг.

Он хотел увидеть Кая.

Он хотел увидеть его вблизи, чтобы внимательно рассмотреть его улыбку, заметную даже в полумраке Правого крыла.

И он увидел улыбку Кая.

И он забыл о своих размышлениях.

Он даже толкнул плечом Хлынова, стараясь сделать еще один шаг, продвинуться поближе к другому человеку. И, делая этот шаг, он вдруг увидел резко расширившиеся зрачки генерала Тханга, увидел Садала, резко выбросившего вперед обе руки. Он еще не знал, что, собственно, происходит. Он ведь видел улыбку Кая, и

она настолько не вязалась с окружающим, что ему захотелось отчаянно закричать.

Заметь меня! Заметь меня, Кай!

Он не знал, зачем ему это. Он знал, что если Кай его не увидит, если они не встретятся хотя бы взглядом, ему, Колону, будет жить тяжелей, чем жилось прежде.

Заметь меня!

Он сделал еще шаг.

Он хотел быть как можно ближе к Каю. Он страшно страдал: Кай его не видит! Он хотел, чтобы Кай наконец увидел его, он хотел, чтобы Кай, взглянув на него, все понял. Он страдал: неужели Кай не успеет его увидеть? И когда рядом резко и коротко ударил пистолетный выстрел, когда бесшумно, как стая нелепых черных птиц, зашуршали, вылетая из-за ширм, низкорослые чужие солдаты, когда странно ярко полыхнули на секунду потревоженные сквозняком масляные светильники, Колон напряг все свои мышцы, пытаясь все же прорваться к Каю. Он пытался сбросить с себя черных солдат, вцепившихся в него, сорвавших с него рубашку, он почти пробился к Каю, к тому месту, где Кай только что стоял, когда один из солдат, размахнувшись, очень точно и сильно ударил Колону прикладом, прямо по грубому шраму, полученному Колоном несколько лет назад во время ночного вылета тяжелых бомбардировщиков в один из районов Вьетнама.

## V

Стенограмма пресс-конференции.

Сауми. Биологический Центр

Н. ХЛЫНОВ:

Цан Улам, знает ли Кай, другой человек, о том, что между ним и нами есть разница?

Доктор УЛАМ:

Кай знает о разнице, существующей между ним и нами. Он знает даже, что эта разница существенней, чем разница между, скажем, нами и нашими доисторическими предками. Но к нам, к своим предшественникам, Кай относится очень мягко. Он относится к нам хорошо. Он относится к нам гораздо человечнее, чем мы относились и относимся к тем же индейцам Америки или Африки. Его девиз: любовь. Его неперменный девиз: справедливость.

Д. КОЛОН:

Цан Улам, вас не смущает то обстоятельство, что Иисус был в свое время распят именно теми, кому он нес свою любовь, кому он нес свою справедливость?

Доктор УЛАМ:

Иисус был вооружен верой, Кай вооружен знаниями. Еще он вооружен терпимостью. Еще он вооружен силой. В отличие от нас он не несет в себе генов агрессивности, в отличие от нас он не зависит от факторов, возникающих в результате нашей же собственной неразумной деятельности. Гены ногохвосток спасают его от ДДТ, которым мы засорили землю, гены озерного камыша дарят ему иммунитет к отходам моющих средств, фенолов, всех тех вредоносных средств, которыми мы засорили атмосферу и воды. Кай ничего и никого не боится. Кай ничему и никому не угрожает. Кай знает: он единственная истинно разумная единица Вселенной. А потому он терпеливо и мирно ждет.

Д. КОЛОН:

Чего?

Доктор УЛАМ (удивленно):

Как чего?.. Нашего ухода!

Д. КОЛОН: Вы действительно уверены, что наш уход предопределен?

Доктор УЛАМ:

Не имеет значения.

Д. КОЛОН:

Но почему Кай должен оставаться спокойным и доб-

родушным, если на его глазах начнет вымирать человек, существо, над которым немало потрудились эволюция в течение многих и многих миллионов лет?

Доктор УЛАМ:

Девиз Кая: любовь. Девиз Кая: справедливость. Кай не может помочь всем, но он старается помочь каждому.  
Д. КОЛОН (раздраженно):

Как это понимать?

Доктор УЛАМ:

Наш уход предопределен. Кай сочувствует нам, но у него впереди новый прекрасный мир. Его обязанность сделать этот мир еще и счастливым, не в пример нашему. Сочувствуя людям, он поддержит и утешит любого, кто будет нуждаться в этом. Он выслушает любую исповедь, он предоставит нуждающемуся то, в чем он нуждается. Это уже наше дело, как мы сочтем нужным уйти — в добре и смирении, осознав величайшую миссию другого человека, или в бессмысленном бунте, под заревом гибнущих городов...

Д. КОЛОН (раздраженно):

...как это сейчас происходит в Сауми!

Доктор УЛАМ (с улыбкой):

...как это сейчас происходит в самых разных уголках нашей планеты.

Н. ХЛЫНОВ:

Цан Улам, а потом, через сто лет или через тысячу, когда единственным хозяином планеты окажется другой человек, — что будет потом?

Доктор УЛАМ (улыбается):

Доктор Сайх учит: правильный путь — это путь к теплу и к свету. Неправильно тянуться к холоду и страдать от ночной тьмы. Каю видней, что будет потом. В сущности, это дело Кая, нас оно никак не должно интересовать. Но если вы задали свой вопрос не из праздного любопытства, если вы впрямь начинаете осознавать, что Кай — другой, совсем другой человек, то я поделюсь с вами своей догадкой...

Д. КОЛОН:

Мы само внимание, цан Улам!

Доктор УЛАМ (долго молчит, потом встает, давая понять, что пресс-конференция заканчивается; он даже улыбается):

А потом... Потом наступит... покой!

## САДАЛ: ЧЕЛОВЕК-ДЕРЕВО

### 1

Садал остановился около ширмы и осторожно, будто боясь ее, провел пальцем по блестящей зеленоватой поверхности. Ширма напомнила ему о тихих беседках, со всем ветхих, зато пустых, которые и сейчас торчат в глухой глубине заброшенного королевского сада, она напомнила ему о не столь уж далекой ночи, когда он, Садал, сможет наконец остаться совсем один. Он, собственно, и сейчас был один — его не замечали ни солдаты, ни Тавель, ни журналисты, но все равно это отличалось от одиночества, испытываемого им в королевском саду.

Садал привык к одиночеству.

Призрак, фантом, тень тени, привидение — он мог появиться где угодно. Он мог присесть рядом с солдатами военного патруля, мог провести ночь у их костра, а мог на их глазах войти в какую-нибудь брошенную лавку и переночевать там, мог на глазах охраны войти в Биологический Центр и прилечь где-нибудь на циновке, не обращая никакого внимания на шмыгающих кругом солдат. Зачем его замечать? Ведь все знают: он — человек-дерево, он — вещь Тавеля, он — щупальце Тавеля, он, наконец, никому не понятное, но не нуждающееся в разъяснениях продолжение Тавеля.

Ему, Садалу, это было все равно.

Он, Садал, всегда хотел быть деревом.

Иногда он еще смутно помнил дорогу, запорошенную



мелкой текучей пылью, растоптанную множеством босых ног. Иногда он еще слышал издалека бляние овец, долгий скрип ручных двухколесных повозок, сторожевых с палками — впереди и по сторонам колонны. Иногда сторожевые отгоняли от колонны зверей и змей, иногда сами отводили кого-то в сторону... Чужие звезды, низкое дыхание бредущей толпы, хрип умирающих от жажды детей — когда это было? Вчера или сто лет назад? Или только еще будет?

Впрочем, все это не имело значения.

Доктор Сайх учит: счастье в единении. Дорога — мерило сущего. Нелживые мысли рождаются на дорогах.

Он, Садал, всегда хотел быть деревом.

Будь его воля, умей он так сделать, он давно бы покинул Хиттон, это гигантское, издыхающее, но все никак не могущее издохнуть чудовище, до самой глотки набитое вещами, которые чуть не сгубили детей Сауми. Они уже были убиты, эти вещи — разбитые холодильники, сожженные автомобили, переколоченная посуда, разбросанные купюры, оборванные провода, но они еще не истлели окончательно, они еще не исчезли, они еще нагло напоминали о себе, то там, то здесь выглядывая из-под листвы, из-под мусора.

Доктор Сайх учит: человеку принадлежит лишь то, что даровано ему природой в час рождения. Человек такая же простая категория, как воздух, как вода, как земля, как огонь. У природы нет цели. Все сущее рождается, цветет, отмирает, чтобы слиться с воздухом, с водой, с землей. Он, Садал, знал на Большой реке широкую песчаную отмель, она лежит с подветренной стороны горы Змей, она окружена высокими стройными тростниками, от которых в самую тихую погоду по воде проходит тончайшая рябь. Там нет ничего чужого, там нет следа чужого, там только пески, тростник, рябь, бегущая по воде. Там не пахнет бензином, там не пахнет домашними прирученными орхидеями, там толь-

ко бабочки самых невероятных форм и расцветок, а тишину там нарушает лишь пестрый лающий олень, неторопливо стремящийся к водопою. Вот там, на песках широкой отмели, над плоскими песками цвета разваренного риса, он, Садал, человек-дерево, стоял бы, раздвигая земные пласты мощными корявыми корнями, именно там бы он стоял, гоня по капиллярам сладкие земные соки, именно там бы он стоял в молчании над бесконечной рябью, над застывшими в путанице водорослей рыбами; он стоял бы и глухо шумел листвою: заметь меня, Кай! Я вот он, Кай! Ты же видишь, какую густую я даю тень. Пожалуйста, отдохни в моей тени!

Доктор Сайх учит: у каждого народа должен быть кормчий, у каждой общины должен быть кормчий, у каждого отдельного человека должен быть кормчий. Каждый отдельный человек, повинаясь своему кормчему, каждая община, каждый народ могут получить все необходимое для себя, укоренившись навсегда в одном из специальных поселений. У людей не должно возникать никаких поводов для перекочевки, человеку не надо двигаться на юг или на восток. Если он принял высший смысл, ему достаточно стоять над плоской песчаной отмелью, слушать вечное перешептывание тростников — быть деревом.

В бывшем королевском саду, глухом, темном, задавленном духотой и лианами, недалеко от полуразбитой бамбуковой клетки, когда-то предназначавшейся для сирен, Садал попадал в колючие кусты шуфы. Колючки, острые, кривые, цеплялись за курточку, тянули, останавливали Садала, но не могли его остановить. Они даже не могли прокусить курточку. А если бы вдруг и прокусили, он, Садал, просто предстал бы перед Тавелем, и Тавель одарил бы его новой тряпкой. Ведь Тавель знает: ему, Садалу, вещи ничем не грозят. Ведь он, Садал, всего лишь человек-дерево.

Пряча руки в карманы курточки, Садал перелезал через груды разбитых бетонных глыб, беспорядочно на-

валенных перед входом в бывший королевский сад, молча и аккуратно нырял в проход между ржавыми противотанковыми сжами, на ощупь, во тьме, находил проем в разбитой снарядами стене, стараясь обходить костры редких патрулей, хотя знал, что наткнись он на патруль, солдаты его все равно бы не заметили.

Так же на ощупь Садал проникал сквозь ощеренную осколками стекла гигантскую зеркальную дверь в темный зал, который он никогда не видел при дневном свете, а значит, никак не мог представить его размеры.

Садал не боялся тьмы.

Садал радовался тьме.

Не будь тьмы, казалось ему, из распахнутых настежь дверей лавки его мог окликнуть бесцеремонный торговец, не будь тьмы, он вдруг услышал бы голоса веселых девушек, стоящих на высоком балконе, не будь тьмы, его сбили бы с ног никогда не прекращающиеся на улицах потоки велосипедистов.

Он же помнил: так было!

Правда, не знал: вчера это было или сто лет назад?

Пробираясь сквозь мертвый город, слыша его чудовищную тишину, обходя невысокие костры военных патрулей, Садал радовался тьме. Он хотел, чтобы Хиттон всегда оставался мертвым, он хотел, чтобы в Хиттоне всегда оставался только он, Садал, человек-дерево. Ведь он знал, что достаточно ему нырнуть в проем взорванной стены, окунуться в чудовищный рев неимоверно расплотившихся цикад, войти на ощупь в темный зал за разбитой зеркальной дверью, — и он услышит Кая!

Садал глубоко радовался тьме, всепоглощающей тьме, разрываемой лишь ревом цикад, радовался битому стеклу, колючкам, всеобщему хаосу. Торжество сущего, с которым все должно слиться. И рев цикад был как рев водопада и лишь во тьме безмерного зала несколько отступал, отходил, и тогда он, Садал, на ощупь находил телефонную трубку. Он знал: он поднимет ее и сразу услышит Кая.

Провод был короткий. Садал говорил стоя, заметно наклонясь. Скоро спина начинала ныть, но он не замечал этого, он привык к постоянной боли, она казалась ему естественной, как и этот телефон, непонятно каким образом все еще не отключенный от линии Биологического Центра. Почему? Кто забыл его? Почему он не разбит прикладами, не разрушен временем, не расстрелян из автоматов?

Один в ночи, в вечной тьме, как что-то чужое ощущая ноющую спину, Садал медленно вспоминал слова. Он говорил о Большой реке, об ее отмелях, над которыми когда-то будет шуметь листвою. Заметь меня, Кай! Ведь ты единственный, кто может утешить всех! Ведь ты единственный, кто может утешить каждого! Ведь ты единственный, кто понимает, как мало надо для этого!

Все остальное ничто.

Главное, расти, никого не задевая. Главное, давать густую тень. Доктор Сайх учит: единение, оно как густая тень. Он, Садал, человек-дерево, всегда чувствовал речную прохладу, он, как никто, видел росу на листьях, он, как никто, вглядываясь в зеркальные разливы воды, мог ощущать в ее глубине неясные горбатые тени.

Все предопределено.

Тавель прав: старый мир рухнул. Людские жилища заселены пауками и змеями. Лианы и орхидеи заселяют шумные когда-то проспекты. Где-то далеко, все дальше и дальше уходя от Хиттона, бредут по пыльным дорогам жалкие босые толпы. Кто-то еще идет, кого-то отводят в сторону. И все это — для Кая.

Садал не помнил, когда он поделил мир на Кая и на остальных. Просто мир однажды раскололся, над Хиттоном поднялись зарева пожаров, по улицам одна за другой двинулись колонны постанывающих людей, а рядом заревели двигатели броневиков. А потом умолкли и броневики — пустые площади начали зарастать сорняками...

Доктор Сайх учит: после самых великих потрясений наступает самый великий покой. Чем глубже потрясение, тем глубже покой.

Садал знал: это так. Он, Садал, всегда хотел быть человеком-деревом. И пусть Хиттон всегда будет пуст! — безмерно радовался он. И пусть опустеет земля, и пусть останется только он, там, над плоскою отмелью, и пусть на зеркальную воду ложится гигантская тень его кроны, и пусть в его тени сядет отдохнуть Кай. Другой. Единственный. Единственно необходимый миру.

## 2

Садал давно перестал различать явь и видения. Он давно не задумывался над тем, что именно считать явью. Ночные звонки и голос Кая, несущий утешение? Неожиданные появления Тавеля, всегда вносящие смуту в душу?

Мир с появлением Тавеля вдруг менялся.

Шумно дыша, Тавель волочил Садала по каким-то замусоренным лестницам. Шумно дыша, он выводил его на костры патрулей, и у костров этих всегда было пусто, они никогда не встречали у костров ни одного солдата. Садал догадывался: солдаты прячутся в кустах, они терпеливо ждут, когда Тавель и Садал проследуют мимо, когда они, как потоп, пронесутся мимо, чтобы размывать развал лавок и магазинов, — тогда им, солдатам, можно будет бесшумно окружить это место, чтобы уберечь Тавеля и Садала от случайных хитов, как крысы прячущихся в развалинах. Время шло, время текло, время медленно сочилось. Неизменным оставался закрытый приказ Ставки, и, прячась в кустах, оберегаясь от змей и жгучих колючек, солдаты с тоской смотрели на очередную горящую лавку, ничему не удивляясь. Ведь Тавель уничтожал чужое, вредное, то, что людям было дано не природой, то, что не возникло само собой, как, скажем, побеги риса или маиса, то, что в

конце концов непременно должно было исчезнуть; тогда для всех, а значит, и для них, для черных патрулей, снизойдет вечный и желанный покой.

Мерзкая жидкость обжигала глотку Садала.

Пошатываясь, молча он брел за Тавелем.

Утро только угадывалось, но коричневая ящерица таутэ, укус которой смертелен, уже сидела на капоте разбитого броневика и раздувала широкую грудь, одинаково готовая броситься в кусты или броситься на людей. На бульжниках разбитой, перепаханной гусеницами танков мостовой, примяв босыми ногами колючую траву, стоял худой старик в коротких, изодранных штанах — один из тех, кто, не выдержав великих испытаний, выползал время от времени из своих тайных убежищ. В левой руке старик держал жалкий узелок с вещами, правой придерживал легкую тележку на велосипедных колесах. Он устал от одиночества и от крыс, единственных его соседей по убежищу. Он не понимал, почему Хиттон пуст, он не понимал, почему заросли сорняками улицы? С того дня, когда солдаты в черных мундирах, похожих на просторные пижамы, ворвались в его дом, убили старшего сына, увели с собой жену и трех дочерей, он не видел людей, прячась в глухом подвале. В общем, он понимал, что за это время что-то должно было измениться, но вид покинутого людьми города его ошеломил. Он видел знакомую улицу, но это была незнакомая улица. Из обросшего колючками здания слышался писк крысиного выводка, лианы лезли из окон, из пробоин в стенах, обвивали груды разбитой мебели. Из вышибленных витрин вываливались на мостовую заплесневелые цветные тряпки. Иностранная косметика, мелованная бумага, грампластинки, слесарный инструмент, антикварные вазы, фарфоровая посуда, ковры, штуки дорогих тканей, бесчисленные тряпки, тряпки, тряпки. И все это было смято, сломлено, разметано по земле, будто неведомое чудовище, беснующееся, как в припадке, в слепой ненависти прошлось по

столице. Стулья и диваны, вспоротые и выпотрошенные, валялись прямо в канавах, мостовая была завалена мягкими пуфами и деревянными табуретами, среди сухих камфарных игл лежали разбухшие от сырости книги, из пожухлой травы выглядывали слепые фотографии, на которых при желании можно было еще что-то рассмотреть. Все истлевало и разлагалось, и совершенно чудовищными выглядели курганы обуви, брошенной прямо посреди мостовой или оставленные у подъездов, где черные солдаты заставляли разуваться людей, объявленных хито и направляемых в специальные поселения.

Старик ничего не понимал.

Он впервые вылез из своего мрачного убежища.

Он готов был с ума сойти от тишины и от неизвестности. Голос Тавеля его пробудил. Голос Тавеля не напоминал ему голоса солдата, поэтому он преодолел нерешительность и, мелко переступая босыми ногами по колючей траве, бросился навстречу, лопоча что-то старческое, незащитное, тыкая жалким узелком в витрины разбитых лавок.

Тончайший бледный туман стлался над мостовой. Он был так тонок, что ничего не скрывал, его призрачные линзы наоборот увеличивали каждую трещинку в камнях, каждую травинку. Старик по щиколотку семеня в тумане, во много раз увеличивающем его ужас. Он пугливо косился на ржавые остовы сброшенных с балконов холодильников, на расплюснутую металлическую посуду. Его пугала улица, ставшая безымянной, лишенная каких бы то ни было указателей. Он обходил стороной мрачные, обгорелые автомобили, он семеня навстречу Тавелю и Садалу, размахивая своим жалким узелком, погромыхая пустой тележкой, не зная, не понимая, что именно этот узелок, именно эта тележка автоматически превращает его из остальных в хито.

Тавель пожалел старика.

Он подпустил его совсем близко и трижды выстрелил в сухую старческую грудь.

Садал ничего не слышал.

Садал радовался: Хиттон пуст! Садал радовался: будет день, когда в Хиттоне останется только он, Садал! Садал радовался: когда-нибудь в Хиттоне не будет даже Тавеля!

Заметь меня, Кай!

Придерживая рукой тяжелую дверь неизвестного подъезда, он поднимался вслед за Тавелем вокруг слепой шахты лифта, подорванного гранатой. В подъезде пахло сыростью, валялись заплесневевшие узелки, лежала мотыга. В кухне одной из квартир, в которую шумно ввалился Тавель, еще стоял холодильник. Он казался почти нетронутым, у него просто с корнем вырвали проводку и разбили агрегат. Под холодильником валялся скелет собаки.

Тавель засмеялся. Ему вдруг стало смешно. Собака! Хито, уходя, забыли в квартире собаку!

Смеясь, стеклянно позвякивая флягами, которыми он набил большую сумку, Тавель миновал длинный коридор, перешагнув через валяющийся на полу китель высшего офицера королевских войск. Правую полу кителя сплошь покрывали бурые пятна. Такие же бурые пятна цепочкой тянулись по полу в дальнюю комнату, куда ни Тавель, ни Садал не пошли. Им вполне хватило скелета собаки. Посмеиваясь, Тавель толкнул Садала на толстую циновку; из располосованного штыками дивана, стоявшего рядом, неопрятно лезли куски желтого пенопласта.

Смеясь, он никак не мог остановить себя, Тавель одним махом отпил чуть ли не половину стеклянной фляги и сунул ее Садалу.

Хороший город Хиттон! В нем много укромных мест.

Тавель, не целясь, выстрелил в зеркало, мутновато отсвечивающее в углу. Посыпались осколки.

Замечательный город Хиттон! Развлечений в нем хватит на все сто лет.

Тавель, не целясь, выстрелил в бронзовую статуэтку



Будды. Скрикошетировав, пуля сбила замок высокого, до потолка, шкафа. Посыпались с полок школьные тетрадки, плакаты, заплесневелые книги и фотографии.

Конура истинного хито!

Тавелю было невыразимо весело.

Можно не гадать, где сейчас этот хито. Судя по мундиру, валяющемуся в коридоре, он принадлежал к высшим офицерам королевских войск. Его скелет скорее всего в соседней комнате. Можно пойти и посмотреть. Скелет непременно валяется там, ведь в Хиттоне никто никогда не занимался трупами хито, это обычно переставлялось крысам. А они знают свое дело.

— Высших офицеров, — смеялся Тавель, — мы обычно убивали мотыгами. Экономия патронов, закалка духа испытание на прочность лучших людей. Патронов у нас и сейчас немного. — Будь за спиной Тавеля офицерский корпус, он кое-что изменил бы в стране, исправил бы некоторые допущенные в спешке ошибки.

— Возможно, — смеялся он, — я еще кое-что исправлю!

— Может, пойти и поискать живого хито? — веселился он. — С живым хито всегда интересно и поучительно разговаривать. С хито следует говорить именно так, строго и поучительно, они понимают строгий тон и никогда не скрывают мыслей.

«Ты же убил хито, — возразил Садал. — Ты же убил его на мостовой, рядом с его тележкой».

Может, он не сказал этого вслух, но почему-то он возразил.

— Их много! — смеялся Тавель. — Особенно много их на юге, в провинциях. Они силой отнимают оружие у патрулей, они нападают на охрану специальных поселений и уводят людей в леса. Прежде всего они уводят детей. Они не убивают детей, как о том сообщается солдатам патрульных частей, говорят, они хорошо относятся к детям.

Тавелю было невыразимо весело.

Они, хито, даже представить не могут, каких детей им иногда удастся увести и кто именно позволяет увести им именно этих детей!

Приступы смеха душили Тавеля.

Генерал Тханг не производит впечатления очень тонкого и умного человека, но генерал Тханг тоньше и умнее всех хито, взятых вместе. Впрочем, стой за спиной Тавеля испытанный офицерский корпус, он, Тавель, сумел бы кое-что изменить!

— Может, пойти на переговоры с хито? — веселился Тавель. — Может, выйти на такие тайные переговоры? — Он уже покончил с содержанием второй фляги. — Говорят, хито не самые худшие солдаты, среди них должны быть люди умелые. Ему, Тавелю, надоело бродить среди руин, ему, Тавелю, надоели проповеди, неважно даже, от кого они исходят. Они, — туманно намекнул Тавель, — отняли у меня все, Садал. Они, — пожаловался он, — оставили мне только тебя, Садал.

Смеясь, Тавель стрелял по фотографиям.

Одна из фотографий, квадратная, с оборванным уголком, упала прямо на колени Садала. На фотографии, высоко подняв руку, легко улыбался элегантный высший офицер королевских войск. Таких люди Тавеля, экономя патроны, убивали мотыгами. Рядом с офицером, улыбаясь беспечно, стояли две женщины. Одна была совсем юная, другая постарше. Обе они с обожанием глядели на офицера.

Садал тупо смотрел на фотографию.

Возможно, когда-то, в той, в прежней, в давно ушедшей жизни, он мог встречать этих людей. Но он их не вспомнил, не смог вспомнить, а Тавель все еще смеялся, увлекшись своей неожиданной идеей. Он, Тавель, мог бы воссоединить разрозненные отряды хито, превратить их в мощный кулак, создать в джунглях свободную зону и отделить от Сауми южную территорию!

Разве страну контролирует не тот, в чьих руках реальная сила?

Садал равнодушно кивал.

Он смотрел в низкое окно, на улицу, где на колючей траве лежал труп старика. Он не видел фотографию, все еще лежащую на его коленях. Тавель тоже не смотрел на нее. А если бы он даже и присмотрелся, вряд ли бы и он узнал в элегантном офицере давно уничтоженных королевских войск Садала, сидящего напротив него, человека-дерево, обряженного в истрепанную курточку, Садала, с его полубезумным морщинистым лицом, равнодушно уставившегося в пустое окно.

Тавель смеялся.

Если следует жить для Кая, он сделает для Кая все! Уничтожит хито или выведет их с территории Самуи. Выжжет все города или построит новые. Пригласит в страну иностранцев или начнет против них всеобщий террор.

Кай!

Тавелю захотелось прямо сейчас увидеть брата. Он не мог оставаться в этой конуре. Он грубо поднял Садала, выкинул его за дверь. Нам надо торопиться! Ты ведь хочешь увидеть Кая? Вот видишь, хочешь! Так топись же!

Сквозь рев цикад, пошатываясь, спотыкаясь, они брели в сторону Биологического Центра, и Садал вновь чувствовал себя человеком-деревом. Он вновь чувствовал, как его искалеченные корни врастают в землю, пропуская к засохшим листьям кроны живительный сок. Он ощущал приближение тишины, той величайшей тишины, в которой только и может произрастать человек-дерево, разбрасывая над миром гигантскую тень, под которой так легко будет отдыхать Каю.

Они шли напрямик, распуская черные патрули.

Они пересекли напрямик окраину бывшего королевского сада, выбрались через бетонные завалы бывше-

го зоопарка к Биологическому Центру, где патрули уже не бежали от них, а, внимательно присматриваясь, не приближаясь, впрочем, ближе, чем на десять шагов, шли за ними. Впрочем, очень и очень осторожно. Они слишком хорошо знали, что Тавель и сейчас неплохо владеет оружием.

Глухая аллея вывела их к глухой бамбуковой беседке, сплошь увитой плющом. Внутри, на циновках, валялись полуопорожненные бутылки, но Тавель потянулся не к ним, он жадно прильнул к щели, пробитой ножом в стене. Не глядя, он потянул к щели Садала, и Садал, мгновенно трезвея, увидел поляну и обширный, обнесенный невысоким бортиком бассейн. Вдали, над деревьями, вздымался мрачный бетонный куб Биологического Центра.

Бутылки остались нетронутыми.

Упершись лбом в стену беседки, Тавель что-то хрипел, но Садалу было все равно, что он там хрипит, он не слышал Тавеля, он чувствовал — здесь Кай!

Прильнув к щели, он, собственно, даже не увидел, он внутренне, в себе, ощутил, как вдруг качнулись, дрогнули тростники, отметив колеблющимися вершинками путь идущих к бассейну людей, как пискнула, вспорхнув над тростниками, крошечная белая птица, показавшаяся ему пушинкой. А может, осколком льда. А может, клочком тумана.

Чем именно, это не имело значения.

Тростник шуршал, как он всегда шуршит, когда его раздвигают руками, но он, Садал, человек-дерево, сразу расслышал, понял, что шуршание это необычно. Если бы это он, Садал, шел через тростники, то он старался бы ступать неслышно, осторожно, так, чтобы тростник оставался тихим, как сон, а если бы там шел Тавель, то он, Тавель, конечно, не озирался бы, и не оглядывался, и не следил бы за колеблющимися верхушками, он бы просто ломал тростник, пробивая себе дорогу.

Но сквозь тростники шел не Садал. И не Тавель. И не осторожный хито из южных провинций.

Кай!

Он шел так, будто он, Кай, был братом тростника. Он не утверждал себя жестким шагом, он не крался, как вор, он не прятался в тростниках. Он просто шел через тростники, мягко раздвигая его шуршащие стебли, а за ним шла Тё, спокойная, как птица, и ей не надо было думать, куда ступать крошечной босой ногой, ведь перед нею оставались следы Кая, и рядом с этими следами не могло быть ни змей, ни острых колючек.

Присев на бортик бассейна, Кай поднял руку. Он радовался. Его большой и указательный пальцы были вытянуты, остальные он согнул. Арада хаста. Знак радости. Кай радовался миру, и Тё радовалась вместе с ним.

Садал забыл о Тавеле. Он даже потеснил его своим узким плечом. Он видел: вот Кай!

Обнаженная грудь Кая блестела, как бронза. Загар на лице был неровен, но, может, это и не был загар. Под нижними ребрами, не ужасая и не удивляя, тянулось несколько темных шрамов, но все это не имело никакого значения, раз он, Кай, находился рядом.

Пятна на коже, какое значение могут они иметь?

Конечно, окажись такие пятна на левой ноге Тавеля или Садала, это означало бы, что в предыдущей своей жизни они были путешественниками, окажись такие пятна на левом боку Тавеля или Садала, это означало бы, что в предыдущей своей жизни они носили на груди золотую ленту. Но это был Кай, и ничто тут не имело значения.

Он, Садал, знал: родись Кай, как Тавель, под зловыми лучами планеты Раху, это тоже не имело бы значения.

И, радуясь: вот Кай! — он, Садал, человек-дерево, молил: «Укрепи меня единством своим, сделай нас не-

раздельными, как неразделимы воды. Заметь меня, Кай!»

И, радуясь: вот Кай! — он, Садал, человек-дерево, радовался: опять опустится ночь, опять будет рев цикад в заброшенном королевском саду, опять будет голос Кая.

Это вечно.

Заметь меня!

И он, Садал, он уже чувствовал себя сильным и вечным, он уже был человеком-деревом, он уже пускал глубокие корни в землю, он уже покрывал землю густой бархатистой тенью. Он не понимал, зачем сует ему Тавель в карман курточки эту гроыхающую, убивающую игрушку. Он кричал из глубин души: заметь меня. Кай!

Все остальное не имело значения.

### 3

Садал остановился за ширмой, но солдат, сидящий здесь же на корточках, стволом автомата ткнул его в бок, и Садал медленно побрел дальше, касаясь рукой то голой бетонной стены, то очередной лакированной ширмы.

Кай.

Можно писать на стене имя Кая и жирно его перечеркивать, как в отчаянии делал Тавель, можно убивать хито, угонять детей и женщин в далекие специальные поселения, можно выжигать города — все это уже давно не имеет никакого значения. Доктор Сайх учит: после самых чудовищных потрясений наступает самая сладкая тишина. И он, Садал, человек-дерево, как никто, понимал эту тишину, потому что он видел, как из высокой ниши один за другим выходили генерал Тханг, доктор Улам, крошечная женщина Тё и он — Кай.

Заметь меня!

Он боялся оторваться от черной голой стены, его

страшило сумеречное пространство зала, которое следовало пересечь. Он даже ухватился за веточку орхидеи, которая натянулась, не лопнув. Споткнувшись, он сунул руку в карман изодранной курточки и почувствовал, каким холодом повеяло на него от этой громогласной игрушки, сунутой ему Тавелем.

Впрочем, это не имело значения.

Вот Кай!

Это знание несло ему радость.

И он был уже человеком-деревом. И он мог уже давать гигантскую прохладную тень. Его капилляры наполнялись сладким живительным соком, эти соки мощно восходили по стволу, питая пышную крону. И он, Садал, человек-дерево, шел навстречу Каю, не чувствуя того, что обе его руки вытянуты вперед и он крепко сжимает ту громогласную игрушку, которую сунул в карман курточки Тавель и с которой он сам когда-то (он не мог вспомнить — когда?) умел совершенно замечательно обращаться. И он шел к Каю, не понимая, почему отшатнулся в сторону генерал Тханг, почему закричала крошечная женщина Тё, шел, пока Кай сам не протянул ему руку, улыбаясь широко и доверчиво:

— Дай его мне!

## VI

### ПАРАДОКС КАИНА

(Глава последняя, но не заключительная)

#### 1

Тяжелый грузовик нещадно трясло. Солдат бросало на Хлынова. Он отталкивал их локтями, прислушивался к затравленному реву двигателя, к жирному плеску грязи, выдавливаемой скатами из колеи. Хлынов ничего не видел. Куда его везут? В аэропорт или в специальное поселение? Где, наконец, Колон?

Привезли его в аэропорт.

Солдаты знаками показали: туда!

Хлынов перешагнул через сорванную с петель дверь и оказался в бывшем зале ожидания. Он был абсолютно пуст, ни одного человека, но на кассовых стойках все еще валялись печати и бланки, груды бумажных денег, растрепанные сквозняками стопки квитанционных книжек. Блоки телетайпов забило пылью, несколько пишущих машинок валялось прямо на полу. Последний самолет взлетел с хиттонского аэродрома несколько лет назад, пестрые ковры успели выцвести, потускнеть; впрочем, в дальнем углу, никем не тронутая, бессмысленно раскланивалась перед отсутствующими пассажирами сандаловая статуэтка танцовщицы.

Через пробоину в стене Хлынова вывели на поле, часто изрытое воронками. За баррикадой, сложенной из мешков с песком, за ржавыми мотками колючей проволоки молча стояло десятка три солдат в однообразных просторных мундирчиках. За их спинами смотрели в небо длинные хищные стволы зенитных установок. Сгущающийся сумрак скрадывал размеры строений, баррикад, даже солдаты показались Хлынову непомерно приземистыми, но ревущий на полосе горбатый двухмоторный самолет его обрадовал. Не специальные поселения! В любом случае не специальные поселения! Не приобщение к естественной жизни, как того требует доктор Сайх.

Хлынов с невольной жалостью всмотрелся в солдат. Они остаются!

Лесенки под самолетом не оказалось. Он подтянулся на руках, снизу его грубо подтолкнули. Хлынов коленом ударился о какой-то острый металлический выступ, пронзительная боль на секунду парализовала его. Но, ввалившись в салон, он не мог удержаться от улыбки: в одном из кресел салона, расслабленно развалившись, сидел Колон. Рубашка на нем была разорвана до пояса, нелепая нейлоновая розочка исчезла. Огромным



носовым платком, похожим на коричневые повязки натуральных, Колон вытирал разбитое, все еще кровоточащее надбровье.

— Гостеприимная страна, — хмыкнул второй пилот, замыкая люки.

— Не вмешивайся! — крикнул издали первый пилот. — Это совсем не твое дело!

— Я и не вмешиваюсь. Я замыкаю люк.

— Вот-вот. Этим и занимайся. Гарольд, вспомни, тоже был не в меру болтлив.

— Кто этот Гарольд? — поинтересовался Хлынов, массируя ладонями ноющее колено.

Второй пилот, похоже, швед, здоровый и белобрысый, кивнул в сторону океана:

— Наш приятель. Иногда со спецрейсами он навещался в Сауми. Он, правда, любил поболтать. Несколько раз он рассказывал об увиденном в Сауми корреспонденту «Асахи». Однажды дверь его машины оказалась почему-то незапертой и вывалилась на вираже. Теперь Гарольд там, — кивнул он в сторону океана. — Там, понятно, не поболтаешь.

— Надеюсь, нам не грозит ничего такого?

— Это зависит от того, понравились вы или нет доктору Сайху! — Первый пилот, смуглый красавчик, похожий на латиноамериканца, подошел к Хлынову. Потом посмотрел на разбитое лицо Колона: — Какого черта вы полезли в эту дыру?

— А вы?

— Это наше дело — чартерные рейсы. Кто нас наймет, на того мы и работаем. Куда нам прикажут, туда и летим. Мы получаем специальную надбавку за риск. Собственно говоря, мы большие специалисты именно по таким вот дырам. Кроме нас, сюда никто не летает. К тому же это наше прямое дело, а нам, — усмехнулся он, — платят только за дело.

— Нам тоже, — хмыкнул Колон.

— Наверное, есть за что... — второй пилот явно же-

лал услышать подробности. — Только я все же не понимаю, что делать порядочным людям в такой дыре.  
— Займись делом!

## 2

Они взлетели.

Не за Хиттоном, а сразу, с Хиттона, потянулись джунгли. Хлынов видел внизу сплошную зелень. Иногда проглядывали извилистые нити рек, но тут же терялись в необозримых массивах зелени. Кое-где рыжели проплешины. Бывшие плантации риса, объяснил Колон. Чтобы их восстановить, нужны годы, а лет через пять-шесть тут образуются голые пустыни.

Хлынов кивнул.

Если самолет начинили взрывчаткой, подумал он, это случится где-то над океаном. Там, где так не повезло Гарольду.

— Чай? Кофе?

Хлынов поднял глаза.

Он совсем забыл про стюардессу. Когда они летели в Сауми, она старалась развлечь их как могла. Она и сейчас дружелюбно улыбалась, скорее всего японка, молчаливое обаятельное существо в зеленой летной форме.

— Я предпочел бы что-нибудь покрепче, — ворчливо отозвался Колон.

Стюардесса извинилась.

— Эти чартеры, у них всегда так, — Колон недовольно pokrutil головой. Похоже, у него болела и шея. — Как он не проломил мне череп? — Его мыслям явно не хватало последовательности. — Эти черные солдатики, они такие миниатюрные, но руки у них тяжелые. Если их подкормить, они еще наломают дров. Так говорят у вас, в России?

И выругался:

— Никогда не доверял чартерам. Они вечно на чем-

нибудь экономят. К тому же, — покрутил он головой, — мы летим все же из Сауми. Бог знает, на что они нынче способны, эти шустрые солдатики доктора Сайха.

И снова выругался:

— Не успеешь объявить человека бессмертным, как его тут же берут на мушку.

Колон закурил.

Похоже, он уже прикидывал в голове строки будущего репортажа. Дым вставал над ним широко, как крона объемистого зонтичного дерева.

— А его даже не подстрелили...

Он обернулся к Хлынову:

— Я никогда не оправдывал самоубийц, но, может быть, это и было самое человеческое решение? Может быть, Кай не мог допустить, чтобы кто-то в его присутствии мог стать убийцей?

— Если это и так, — Хлынов не разделял восхищенных ноток, проскользнувших в голосе американца. — Если это и так, Кая больше нет. Другого больше не существует.

— Вы, кажется, ханжа, дружище, я этого не подозревал, — едко усмехнулся Колон. — Слушая доктора Улама, вы не очень-то восхищались ролью, отведенной Каю, а сейчас, похоже, вы начинаете его жалеть.

— Он мертв, — повторил Хлынов. — Его больше не существует.

Колон выругался:

— Только не жалейте о нем при мне. Узнать о смерти другого, я имею в виду Кая, это все равно, что узнать о том, что твоя якобы смертельная болезнь оказалась не такой уж смертельной. Просто от этой болезни помер кто-то другой. Разве не так? И не смотрите на меня столь строго, без некоторой доли цинизма в этих размышлениях не обойтись. Наш гуманизм часто пасует перед грубой силой, которой, в свою очередь, глубоко наплевать на наш гуманизм. Может, вы и не

желали смерти этому симпатичному саумскому парню. но за ним-то стояла смерть для каждого из нас. Для каждого, дружище! Мы, не жалуясь, устилая землю трупами, миллионы лет тянули свою лямку, пытались встать над болотом животного мира, и вдруг является этот симпатичный Кай и говорит: все, ребята! Ваши усилия не имеют смысла. Хватит обрывать ногти, вам цора уходить! Не так разве?

Хлынов покачал головой:

— Я, правда, жалею... Я не успел поговорить с Каем... Мне кажется, что-то бы изменилось, поговори я с ним... Я не знаю, что именно могло измениться, но убежден. это так бы и было... Но теперь чего гадать... Кая нет.

— Не морочьте мне голову, дружище, — раздраженно фыркнул Колон. — Кай рос при генерале Тханге, рядом с Тавелем, под опекой отца и доктора Сайха. Доктор Улам, к тому же, и не скрывал, что он предвидит однозначную реакцию на Кая: попытки его убрать. Так что все заранее предопределено, дружище, и даже ваши близкие не поймут ваших сожалений. Этот Кай, он нашел достаточно ясный способ выразить свое к нам отношение. А поступи он иначе, доктор Улам, наверное, нашел бы способ прокорректировать его действия. Мы тут бесимся в самолете, не зная, доберемся ли до ближнего порта, а там, внизу, в Сауми, по галереям Биологического Центра спокойно гуляет маленькая женщина Тё с ребенком Кая под сердцем. Разве доктор Улам не намекнул, что многоженство не противоречит обычаям Сауми? И разве в «Й Кёр» не было сказано об особо добром отношении Кая к женщинам и к детям? Попробуйте разыщите сейчас всех его детишек! Мы оплакиваем Кая, а дети его растут. Сто лет или тысяча, вы же знаете, для них это не имеет никакого значения. Как и для доктора Улама. Как и для доктора Сайха. Как и для генерала Тханга. Думаю, самоубийство Кая насколько не испортило им аппетит. Они спокойно пере-

жевывают свои горсточки риса. Они же знают: дети Кая растут. Они же знают: дети Кая растут в Азии. А вы-то должны понимать, что такое Азия. Это нечистоты на улицах, это вечно влажные одеяния, это жгучие соусы, нищета, болезни, это ил на клешнях гигантского краба, это запах мочи и камфары, это низкорослые солдатики с повязками на рукавах. Доктор Сайх перезаразил муравьев и ткнул факелом в муравейник. Муравьи уже побежали, дружище! Разве вы не беседовали с беженцами из Сауми? Я готов, повторяю, я готов допустить, что и дети Кая окажутся чистыми и честными, всегда способными на самые человеческие решения, но нам-то что до того? Почему я должен забывать о своих детях? Почему судьба моих собственных детей должна волновать меня меньше, чем судьба детей Кая? Подождите, дружище, — усмехнулся он мрачно, — мы еще дойдем и до того, что будем отлавливать и уничтожать детей Кая поодиночке. Вот я и спрашиваю, черт меня подери, как все это совместить с нашим непреходящим желанием стать лучше и чище?

— Дети Кая... — покачал головой Хлынов. — Их не так уж и много. К тому же не забывай о законах ассимиляции. Смешиваясь с нами, они понемногу утерять свои уникальные свойства и, боюсь, получают от нас не самое лучшее.

— Ну да! — огрызнулся Колон. — Вспомните, что сказал доктор Улам. Существуют парадоксы, сказал он, которые он не намерен обсуждать с нами. Вы что, не догадались, о каком парадоксе вел речь этот хитроумный создатель Кая?

Он произнес — Кая, но прозвучало как — Каина.

— Парадокс Каина? — быстро переспросил Хлынов.

— Вот именно. Есть такой биологический термин. Удвоение хромосомного набора, любая транслокация, любая достаточно крупная инверсия — все это ограничивает скрещиваемость. Впервые я услышал это от старика Джи Энгуса. Те генетические сдвиги в наслед-

ственном аппарате Кая, о которых так много говорил доктор Улам, все они, видимо, ставят между детьми Кая и нашими детьми стену почище китайской. Мы ничего не сможем передать детям Кая, дружище, ни хорошего, ни плохого, но мы всегда будем у них под рукой как материал для воспроизведения. Вы же понимаете, что влюбляются не в калек и не в идолов. Наши женщины будут продолжать рожать детей, но они будут уже другие!

Колон устало зевнул:

— В конечном счете, дружище, я, наверно, все же предпочту детей Кая, чем детей доктора Сайха, но страшно другое. У нас отняли свободу выбора. Если нас даже в самые черные времена поддерживала иллюзия этой свободы, что начнется сейчас? Ведь планета, которую мы привыкли считать своей, переходит к детям Кая. Все ли захотят с этим смириться? Скорее всего мы еще помашем оружием, хотя факт есть факт: этот другой, он уже среди нас, и ничего с этим не поделаешь! И вот вам совет, дружище. Если лет через десять на перекрестках Токио или Москвы, Чикаго или Софии, Стамбула или Сиднея вы начнете встречать симпатичных смуглых ребят, новую волну беженцев из Сауми, не проходите мимо, присмотритесь внимательно, ровно ли лежит загар на их лицах, тянет ли вас поговорить с ними, как они улыбаются, как они, наконец, ходят. И упаси господи, не желайте этим ребятам здоровья. Внутренне ведь все в нас будет сопротивляться этому... Короче. Убив себя, Кай включил механизм, над которым, увы, мы не властны.

Колон замолчал.

Дым. Тишина. Рокот моторов.

— А вы не попались на удочку доктора Улама, Джейк? — негромко спросил Хлынов. — Вы не сместили акценты, Джейк? Почему вы все время повторяете — другой, другой, другой?

— А как же следует говорить? — удивился Колон.

— Другой, да! Другой человек, да! Но ведь человек, Джейк!

3

Колон спал.

В салоне, невыносимо душном, пахло керосином и полистиролом. Болела голова. Две бессонные ночи давали себя знать. Хлынов невольно склонился к иллюминатору. Ничего он там не увидел — тьма. Но он чувствовал тяжелое дыхание океана, и это сразу бросило его в озноб. Может быть, черт возьми, отсчет новой эры правда начат?

Он вытянул ноги, попытался расслабиться. Неслышно, как из сна, возникла перед ним стюардесса.

— Хотите кофе?

Хлынов покачал головой. Он не хотел пить. Его мучили сотни вопросов, которые он не успел задать Кая. Кому их теперь задать?

Может быть, стюардессе?

Он кивнул стюардессе. Он согласен. Он выпьет чашку кофе. Но когда стюардесса повернулась, он остановил ее. Он не знал, как сформулировать бьющийся в его мозгу вопрос. Но он вспомнил Кая, он явственно увидел его перед собой, его удивительную мягкую улыбку, он увидел Садала с пистолетом в трясущихся руках и услышал негромкий голос Кая, убеждающий, мягкий, теплый: «Дай его мне!» И это сразу многое расставило по своим местам, и тогда он заговорил.

Стюардесса удивилась.

Да, удивленно сказала она. Да, конечно, мы все любим мечтать. Почему нет? У нее, например, тоже есть мечта. Нет, конечно, ее мечта не такая глубокая, как у многих других людей, но это тоже мечта, она ее не стыдится. Правда, она стесняется, ей трудно говорить вслух, она боится все сглазить. Но, конечно, если бы у нее был тот выбор, о котором говорит месье, она бы

не промахнулась. Что месье имеет в виду? Какой бы она хотела быть? Красивой? Умной? Талантливой? Честной? Счастливой?

О, месье шутит! Она понимает. Ей тоже нравится иногда помечтать. Когда летишь над ночным океаном, все кажется далеким, иногда кажется, земли вообще нет. Но она любит мечтать. Когда пассажиров мало, мало забот, мечта скрашивает время полета. Но месье, конечно, шутит. Если есть выбор, почему бы не пожелать сразу быть и красивой, и талантливой, и честной...

Хлынов прервал стюардессу.

У Кая тоже был выбор. Он мог оставаться самим собой, но он выбрал нечто большее.

Хлынов никак не мог растолковать свою мысль понятно. Не рассказывать же стюардессе о другом, это вызвало бы взрыв побочных вопросов.

Он пояснил: речь идет об ограниченном выборе (перед ним отчетливо стояла улыбка Кая), речь идет о том, что выбираешь сам (он никак не мог отвязаться от своих видений), ему, Хлынову, важно знать, какой бы она хотела быть вот прямо сейчас, когда они еще не добрались до земли — мудрой? человечной? богатой?

Стюардесса поежилась.

На нее будто дохнуло холодом. Она неуверенно, уже по службе, улыбнулась Хлынову. Она, кажется, понимает месье. Но ее французский, она занималась на специальных курсах, он так нечеток. Она же японка. Но она хорошо зарабатывает на чартерных линиях. Если месье так хочет, если он настаивает на своем вопросе, она, конечно, ответит, какой ей хочется быть.

И она сказала:

— Живой. — И улыбнулась.

Она ведь не знает, есть ли у месье дети? Она показала на пальцах: у нее двое. А на чартерных линиях пока что неплохо платят.

И повторила:

— Живой.



## **СОДЕРЖАНИЕ**

Кот на дереве

5

Перепрыгнуть пропасть

56

Игрушки детства

81

Виртуальный герой, или Бесконечное приключение

107

Другой

120

**Прашкевич Г. М.**

**П 70** Кот на дереве: Фантаст. повести и рассказы.—  
М.: Мол. гвардия, 1991. — 239[1] с., ил. — (Б-ка  
сов. фантастики).

**ISBN 5-235-01319-0**

Повести и рассказы сибирского писателя объединяет стремление увидеть необычное в обычном. В книге читатель найдет приключения молодых героев, которые попадают порой в самые невероятные ситуации.

**П** 4702010201—021 112--91  
078(02)—91

**ББК 84Р7**

**ИБ № 6939**

**Прашкевич Геннадий Мартович**

**КОТ НА ДЕРЕВЕ**

Заведующий редакцией **В. Щербаков**

Редактор **В. Фалеев**

Художник **Ю. Гурьянов**

Художественный редактор **Б. Федотов**

Технический редактор **Н. Носова**

Корректор **И. Ларина**

Сдано в набор 01.08.90 Подписано в печать 12.12.90  
Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 2. Гарнитура  
«Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 10,5. Условн.  
кр-тт. 10,85. Учетно-изд. л. 11,0. Тираж 100 000 экз. Цена  
2 руб. Заказ 1216.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-  
полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».  
Адрес ИПО. 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21

**ISBN 5-235-01319-0**



2 руб.

# Кот на дереве

---



МОЛОДОЯ ГВАРДИЯ

Ф  
С  
А  
О  
Н  
В  
Т  
Е  
А  
Т  
С  
С  
Т  
К  
И  
О  
К  
И  
И